ЗАПИСКИ МЕЧТАТЕЛЕЙ

№ 6

«АЛКОНОСТ»
ПЕТЕРБУРГ
1922

Р. Ц. — № 561.
Напечатано в количестве 5000 экз.

I

ЭПОХА ДО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ.

Воспоминания об А. А. Блоке далеко простираются вспять предваряя годы знакомства. Первую весть о бытии А. А. я имею от С. М. Соловьева[1]) в 1898, не то в 1897 г. Я узнаю, что родственник С. М. Соловьева, тогда еще мальчик, Саша Блок, гимназист пишет, как все мы, стихи и увлекается театром. В те годы я, тоже гимназист, был ласково принят в гостеприимном доме покойного М. С. Соловьева, брата Влад. Соловьева. Своеобразные отношения складывались тогда между мной и семьей Соловьевых. Я, юноша 16—17 лет, дружил и с мальчиком Сережей и с его родителями С. М. и О. М. Соловьевыми. О. М., художница и переводчица, чуткой душой соединяла интересы к искусству с интересами религиозно-философскими, тогда столь не модными. Она любила английских прерафаэлитов, Фета, тогда начинающего Бальмонта, переводила Рескина, выписывала журнал «Студио», восхищалась стихотворениями Верлена и драмами Метерлинка. Она-же и познакомила меня с поэзией Верлена и Уальда, Бодлера и с Ницше. М. С. Соловьев относился сдержаннее к этим веяниям в искусстве, высоко ценя классиков и прозорливо выделяя все, действительно ищущее и талантливое. Среди московских эстетов уходящего поколения он считался арбитром, не разделяя насмешек их по адресу к едва пробивающимся течениям иных доктрин. Он первый отметил Брюссова эпохи шедевров, как поэта с крупным будущим, шутил над негодующими критиками декаденства. Всем этим он влиял на меня, поощряя мои юные революционные устремления в литературе, но приучая и воспитывая мой вкус в любви к классикам. Помню его мастерское чтение «Фритиофа» Тегнера, его любовь к северным фосфористам. В те годы

---

[1]) Поэта, филолога, критика, ныне священника.

я увлекался и Достоевским, и Ибсеном, и Шиллером и Шекспиром. В тесном кругу Соловьевского дома за чайным столом шла беседа: спорили об Ибсене, Ницше. Мы с Сережей тогда увлекались театром и в небольшой квартире Соловьевых наскоро импровизировали отрывки из Шекспира и Шиллера. Так были в корридоре разыграны сцены из «Макбета», «Мессинской невесты», «Двух миров» Майкова, — мы покушались и на «Орлеанскую Деву».

Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиотух (по второму браку), урожд. Бекетова, была дочерью тетки О. М. Соловьевой, урожденной Коваленской. Мать О. М. Соловьевой — А. Г. Коваленская, была в свое время известной детской писательницей. Уже в те времена я знал: неизвестный мне Саша Блок, проживающий зимами в Петербурге, проводит лета неподалеку от «Дедова», имения А. Г. Коваленской, и бывает в Дедове, приезжая из Шахматова, имения матери, находящегося в живописнейшей местности по Николаевской жел. дороге, в 18 верстах от ст. Подсолнечная, смежной с Крюковым, около которого расположилось Дедово. С 1898 года, веснами, я посещал Дедово. Помнится, я слыхал рассказы обитательницы Дедова, кажется М. В. Коваленской, о сильном впечатлении, которое на ней оставил недавно тут гостивший А. А. Блок, который был тогда гимназистом, преисполненным интереса к театру: монологи из Гамлета декламировал ей наизусть он. Так первая память об А. А. настигает меня. Позднее уже имя Блока иначе встречает меня с лета 1901 года.

Чтобы понять тонусы нашей встречи, нужно охарактеризовать веяния, пронесшиеся над некоторыми из нас в 1900 — 1901 года. Для многих наступление нового века совпало с решительным переломом в идеологии. С 1900 года, в поколении, выступившем вскоре под знаменем символизма, впервые обозначились грани их символического пути и грани, резко их отделяющие от веяний эстетизма и декадентства, перекликавшихся с пессимистической философией Шопенгауэра и Гартмана и с скептическим иллюзионизмом Бодлера. Культ безвольного созерцания, культ покоя, уничтожения, одинаково окрашивал, казалось бы, несоизмеримые сферы культуры. Молодой Бальмонт упивался лирикой туманов, кувшинок и камышей, утонченники увлекались нежностью драмачек Меттерлинка, в «Вопросах Психологии и Философии» появилась статья Гилярова «Предсмертные мысли Франции», на картинных выставках тенденциозный жанр сменился культом безыдейного пейзажа: появились бледные девы с кувшинками за ушами. Идеология этого, сказал бы я, серо-синего цвета — идеология сна. Идеология сна переживалась сгуст-

ками душевного пара в космической бездне. Спорили и народники и марксисты, но революционеры в искусстве те споры считали мышиной суетней жизни. Я был шопенгауэрцем, принимал эстетику Рескина, упивался «вечным покоем», читал речи Будды. Эстетизм, как созерцание, как форма освобождения от воли, был следствием философии умирающего столетия и от того звучал Фет, этот выразитель настроения Веданды в русской природе. Все было тихо. Шептались в уголках меттерлинковские тени, да плакал под северным небом Бальмонт. Изредка лишь докатывался до нас лавинный грохот Ибсеновских драм, да звучали исступленные диалоги лирики Достоевского, как намек на тревожное будущее. Плоскость пессимистической эстетики незаметно здесь выявила свое третье трагическое измерение, и оно прозвучало вдруг «Происхождением трагедии» Ницше. Вдруг все изменилось.

Пессимизм переродился в трагизм. Безмирное пересеклось с мирным, безвременное с временным. Появляется крест, символ пересечения, и с ним трагедия креста, разрешающаяся то в бунт, то в жертву. В бунте и в жертве пассивность преодолевается активностью огней и крови. Бальмонт творит горящие здания, переходя от северной тишины к «будем как солнце». Бунт горьковских босяков находит наиболее широкий отклик: он делается более модным, чем неврастения «Ивановых» и «Чаек». Ницше охватывает передовые слои русской молодежи лозунгом, что «время сократического человека прошло», выходят сочинения Влад. Соловьева, влекущие первый интерес к религиозно. философским путям. Вечное появляется в линии времени зарей восходящего века. Туманы тоски вдруг разорваны красными зорями совершенно новых дней. Мережковский начинает писать исследования о Толстом и Достоевском, где высказывает мысль о том, что перерождается самый душевный состав человека и что нашему, именно, поколению предстоит выбор пути между возрождением и смертью. Лозунг его — «или мы, или никто», — становится лозунгом некоторых из молодежи, перекликаясь с древними пророчествами Агриппы Неттенсгеймского и «книги блесков» о значительности 1900 года, как перелома эпохи. И мы эти лозунги сливаем с грезами Соловьева о Третьем Завете, Царстве Духа. Срыв старых путей переживается Концом Мира, весть о новой эпохе — Вторым Пришествием. Нам чуется апокалипсический ритм времени. К Началу мы устремляемся сквозь Конец.

Чувство конца, рубежа между сознанием декадентов 90-х годов и сознанием молодых символистов XX-го века, физиологичность,

конкретность восприятия зорь, факт свечения и неожиданность этого факта, а также недоумение и трудность понять причину зорь, — вот, что сосредоточивает наше внимание. Многие восприняли наступление нового века не эволюцией мировоззрений, а фактом явления в них новых органов восприятия времени. Мировоззрительные объяснения символистов, психологические, логические, мистические, социологические и религиозные носили характер случайных и неудачных гипотез. Факт чувства зорь оставался. Отсюда их пыл и уверенность, победившая сократиков и декадентов. Появляются вдруг видящие зорю и не видящие. Видящих было мало. Они чувствовали друг друга издалека, образуя собой никем не установленное братство, ведающих о великом событии близкого времени, о драматической борьбе света и тьмы. Они могли быть атеистами, или теистами, архистами, монархистами, или анархистами, — но они знали, что увидели нечто, чего другие не видят. Во-первых, в эти годы образовался в Москве кружок, сгруппированный около покойного М. С. Соловьева, членов которого соединял звук грядущей эпохи, расслышанный внятно но объясняемый по разному: так, одна музыкальная тема допускает вариации красками, звуками, мыслями. В этом маленьком кружке находились люди разных бытов и возрастов, разных идеологий: ученый марксист, будущий символист Эллис встречался с М. С. Соловьевым, определенно православно настроенным, будущий музыкальный критик Вольфинг встречался с консерватором, поклонником Страхова, К. Леонтьевым, Говорухо-Отроком, Розановым, тогда мало известным. Новое, связующее нас как бы в одну семью, не имело касания с прошлым, из которого приподнимались по разному мы.

В заметке А. А., найденной после кончины его, встречается одно характерное место: «в январе 1918 года я в последний раз отдавался стихии не менее слепо, чем в январе 1907, или в марте 1914 года. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией. Например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько раз ощущал физическим слухом большой шум вокруг, шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира». В 1900-м — 1901-ом годах, особенно в 1901-м, мы, молодежь тогдашнего времени, слышали нечто подобное шуму и видели нечто подобное свету. Мы отдавались конкретно стихии грядущих годин и эта отдача наша — не мечта: она была реальным ощущением свершившегося факта. Именно в 1899-м — 1900 г.г. и в моем миросозерцательном облике произошла перемена: философия

созерцания сменилась исканиями религиозного порядка. От Шопенгауэра я шел в одном направлении к трагическому мировоззрению Ницше, с другой стороны через Гартмана к Владимиру Соловьеву, с которым имел случай встретиться в бытность его в Москве, все в той же гостеприимной квартире М. С. Соловьева. Влад. Соловьев в ту пору переживал перелом от христианского морального квиетизма «Оправдания Добра» к пророческим «Трем Разговорам». Весною 1900 года я вел с ним разговор, оказавший на меня решительное влияние: с этого времени я жил чувством Конца, а также ощущением благодати новой последней эпохи благовествующего христианства. Символ «Жены, облеченной в Солнце» стал для некоторых символом Благой Вести о новой эре, соединением земли и неба. Он стал символом символистов, разоблачением Существа, Премудрости, или Софии, которую некоторые из нас отожествляли с восходящей зарей. В те времена, как Е. К. Метнер, брат композитора, прослеживал тему слышимых веяний от Бетховена через Шумана в темах гениального своего брата, которые тот, по его словам, вынул из звука зорь, в то время как З. Н. Гиппиус собирала материал для замечательного рассказа «Небесные Слова», где дана градация небесных пейзажей, мы, молодежь, сгруппированная вокруг М. С. Соловьева, отыскивали следы лучезарных благовестей в пейзажной поэзии Влад. Соловьева и старались связать эту поэзию с религиозной символикой философского соловьевства. Это был максималистический вывод к жизненной практике из философии Соловьева, которого побаивались академические ученики покойного философа. Философию Соловьева мы брали в аспекте его теургического лозунга:

«Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет,
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод»...

«Она» или Муза поэзии Соловьева на нашем жаргоне являлась символом органического начала жизни, душою мира, долженствующей соединиться со словом Христа. Из всех сочинений Влад. Соловьева, статья его «О смысле любви», напечатанная в «Вопросах Психол. и Философии», являлась наиболее объясняющей нам нас в нашем юном искании осветить не одним только мужским логическим началом жизнь, но и женственным началом человечества. Она или Душа человечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысливающей любовь. Мы, молодежь соловьевского толка, пред-

ставляли собой лишь малую часть людей нового сознания, ощутивших физиологически факт зари, — соловьевство же наше было жаргоном, гипотезой оформления, а не догмою; но встреча нас, подлинных соловьевцев друг с другом, казалась волнующим событием жизни.

В июле 1900 года скончался Владимир Соловьев. Мне, близко стоящему к семейству покойного, и посвященному во все интимные устремления покойного философа, вплоть до встреч с людьми, впоследствии обратившими на себя внимание (как то встречи и разговоры с покойной А. Н. Шмидт автором Третьего Завета, с которой я лично познакомился осенью 1906 года и даже обменялся письмами), было естественно переживать все крайние мистические выводы из доктрины почившего, как и молодому племяннику его, С. М. Соловьеву. Можно сказать: в 1901 году мы жили атмосферой его поэзии, как теургическим завершением его учения о Софии — Премудрости *).

Весна 1901 года, казалось, наполнена была эсхатологическими веяниями. Я писал тогда мою драматическую «Симфонию», где под покровом шутки я рисовал парадоксы крайнего толкования некоторых из соловьевских идей. Весь трюк «Симфонии» есть превращение сокровеннейших чаяний в парадокс от догматического взятия идей и веяний лишь музыкально-внятных уху и программою неуплотняемых. В то же время организовалось первое русское Религиозно-Философское Общество в Петербурге, к деятельности которого я в то время относился враждебно. В Москве организовалась первая группа церковников, считавшаяся с фактом нового сознания. В ней были имена: Новоселова, Льва Тихомирова, Виктора Васнецова, свящ. Фуделя и др. К этой группе я также относился весьма отрицательно. Между петербургскими оргиастами и московскими церковниками мы, соловьевцы, чувствовали себя одиноко, стараясь провести чистоту лозунга нашей Музы меж двух враждебных для нас станов:

«И — бедная, меж двух враждебных станов
Тебе спасенья нет»...

Существовал в нашем сознании наш, третий стан, принимающий новое откровение Соловьева о женственности, сходящей в жизнь.

---

*) На эту тему были разговоры и переписка, в которой принимали участие О. М. и М. С. Соловьевы, А. Н. Шмидт, тогда бомбардировавшая письмами М. С. Соловьева. Эти письма М. С. давал читать мне; где они,—не знаю.

Это был малый круг, собиравшийся за чайным столом каждый вечер: О. М. и М. С. Соловьевы, их сын, несколько из моих товарищей, главным образом А. С. Петровский; впоследствии, в 1902 году к нам присоединился Г. А. Рачинский. О. М. Соловьева переписывалась с петербуржцами, — с П. С. Соловьевой (Allegro), З. Н. Гиппиус и с А. А. Кублицкой-Пиотух, матерью А. А. Блока, — на «наши», как мы тогда говорили, темы. Содержание писем З. Н. Гиппиус и А. А. Кублицкой-Пиотух О. М. Соловьева передавала мне: они были предметом наших бесед.

Весной и летом 1901 года — максимум напряжения символической мысли: темы Вл. Соловьева начали вызывать необычайный интерес. В Нижнем Новгороде А. Н. Шмидт развивала интимные темы своего «Третьего Завета», Мережковский и Розанов писали свои напряженнейшие статьи, Н. А. Бердяев звал от марксизма к идеализму, зрели «Проблемы идеализма», начались собрания петербургского Религиозно-Философского Общества. В Вышнем Волочке собирался религиозный кружок православных, юноши-революционеры, студенты и гимназисты еще пробивались к религиозной мысли (я разумею впоследствии известные имена священника Флоренского, свящ. Свентицкого и покойного философа Эрна). Вячеслав Иванов приходил к концепции своей «религии страдающего Бога». Я писал московскую «Драматическую симфонию». В мае и июне композитор Н. Метнер, тогда молодой человек, вынул из воздуха зорь тему первой С-мольной сонаты, которая, облеци только ее словами, пропела-бы: «Предчувствую Тебя... Года проходят мимо — все в облике одном предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо. И молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появленье». . И именно 4 июля 1901 года А. А. Блок в Шахматове написал это свое стихотворение в дни, когда я в Серебряном Колодце писал о «Полевой Фантазии» Сергея Мусатова, об огромном мистическом движении на северо-востоке России, где образ «жены, облеченной в солнце», или — Софии-Премудрости — получил свое воплощение в образе земной женщины, Той, о которой Блок в те же числа сказал: «Предчувствую Тебя», и «появленье близко». Все упомянутое мной еще не встретилось, не перекликнулось, еще вынашивалось отдельно, — в Нижнем Новгороде, Петербурге, Шахматове, в Дедове, в Серебряном Колодце — где еще? Понятно, что встречи друг с другом людей, слышащих одинаково зарю и отразивших различно ее статьями, стихами, сонатами, вызывали в душе повышенный романтизм. «Эти встречи» друг с другом — первое основание течения, впоследствии

получившего несколько ограниченное название «литературной школы русского символизма». Среди символистов встречались и личности, не имевшие отношения к литературному символизму, не написавшие ни одной строчки или позднее писавшие под иными лозунгами, например: Сергей Соловьев, Вольфинг, Н. К. Метнер, А. С. Петровский, Е. П. Иванов, А. Н. Шмидт и др. Именно они то и выносили в личных исканиях подоплеку позднейшего символизма.

В июле 1901 года я получил от С. М. Соловьева письмо, уведомлявшее о том, что в Дедове у него гостил А. А. Блок, с которым они много бродили в полях и говорили на «наши» темы: речь шла о характере понимания поэзии В. Соловьева, о практических выводах его философии, о любви, о Софии-Премудрости, Той, которую Соловьев называл «Царицей». А. А. предлагал С. М. Соловьеву ряд вопросов и даже форсировал выводы наши, впадая в максимализм и выражая уверенность: «новая эра уже началась, старый мир рушится».

Это письмо С. М. Соловьева ко мне совпало для меня с эпохой максимального отдания себя соловьевскому мистицизму, теме «смысла любви», темам стихотворений Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Из под таинственной, холодной полумаски», Фета «Соловей и роза», «Alter-Ego» и др., В. Соловьева «Трех свиданий», «К Сайме», «Слов увещательных к морским чертям», «У царицы моей», и т. д. Письмо С. М. Соловьева — событие в моей жизни. Я понял: мы встретили нового брата в пути. Пробую установить время приезда А. А. Блока из Шахматова в Дедово и упираюсь в срок — от середины июня до середины июля, не ранее, не позднее. Это — срок написания следующих стихотворений. Только что были написаны: «Предчувствую Тебя», «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко» — к этому стихотворению эпиграф из Владимира Соловьева, писалась «Historia», («И близится рассвет, и умирают тени, и ясная, ты с солнцем потекла»), Она цвела за дальними горами. «Она течет в ряду иных светил», посвященное С. М. Соловьеву. Последнее стихотворение вероятно и было прочитано А. А. С. М. Соловьеву в Дедове или могло быть написано под впечатлением пребывания в Дедове *). В течение этого же лета встречаем у

---

*) Помня хорошо пейзажи Дедова и Шахматова, я готов утверждать: аромат пейзажа в данном стихотворении скорее дедовский, а пейзаж хронологически предыдущего стихотворения «Сегодня шла Ты одиноко» — шахматовский: — «Там, над горой Твоей высокой зубчатый простирался лес, и этот лес, сомкнутый тесно, и эти горные пути мешали слиться с неизвестным, Твоей

А. А. еще одно стихотворение с эпиграфом из Вл. Соловьева и еще одно стихотворение, посвященное С. М. Соловьеву. Все показывает: А. А. был тогда под влиянием круга идей Вл. Соловьева, быть может тех острых бесед, которыми он обменялся в Дедове с семейством Соловьевых. В конце мая этого же года, здесь же в Дедове я читал первую и вторую части «Московской Симфонии», о которой Соловьевы могли бы сказать А. А. Блоку.

В начале сентября 1901 года я вернулся в Москву. В первое свое посещение Соловьева я ознакомился с рядом стихотворений А. А. («Предчувствую Тебя», «Ты горишь над высокой горою», «Сумерки, сумерки вешние», «Я жду призыва, ищу ответа», «Она росла за дальними горами», «Не сердись и прости», «Одинокий к тебе прихожу», «Ищу спасенья» и др.). Впечатление было ошеломляющее. Стало явно: то именно, что через 15 лишь лет дошло до сознания читательской публики, — именно, что А. А. первый поэт нашего времени, традиционно связанный с линией Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, пережилось именно в то время. Во-вторых было ясно сознание: этот огромный художник—наш, совсем наш, он есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устремлений [1]). С первых же строчек А. А. стал мне любимым поэтом. Я понимал: будучи первым поэтом, он был не поэтом для нас, а теургом, соединявшим эстетику с жизненной мистикой, и поднимался вопрос о том, как нам жить, как нам быть, когда явно в мире звучат уже призывы, подобные блоковским.

Осень и зиму 1901 года мы обсуждали стихи А. А., ждали все новых получек из Петербурга. Мнения наши тогда разделились: М. С. Соловьев сдержаннее тогда отзывался о поэзии и о мистике Блока, О. М. Соловьева горячо принимала стихи, не вполне доверяя мистической ноте их. Мы же с С. М. Соловьевым решили, что Блок безусловен, что он единственный продолжатель конкретного соловьевского дела, пресуществивший философию в жизнь. И действительно, А. А. Блок, по времени первый из русских, приподнял поэзию В. Соловьева и осознал всю огромность религиозного смысла ее. Он довел соловьевство до идеологии максимализма, почти до секты. Пусть впоследствии говорили, что в этом крах линии мистики Соловьева (так полагали Г. А. Рачинский, кн. Евг. Трубецкой, священ. С. В. Бул-

---

азурью процвести». Зубчатый лес, мешающий процвести лазурью, горы — это Шахматово и его окрестности.

[1]) Этот круг мыслей я высказал в статье «Апокалипсис русской поэзии» в 1905 году.

гаков и др.), — он выявил в Соловьеве новые стороны, которые без него вовсе не были бы понятны, как например темы «Исповеди» и «Третьего Завета» А. Н. Шмидт.

С осени 1901 года А. Н. Шмидт появляется у Соловьевых. Мне приходится с ней встречаться и не раз вести беседу на тему «Исповеди». В декабре 1901 года произошла моя встреча с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус все в той же квартире Соловьева. С начала 1902 года между З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковским и мною — деятельная переписка. Помню: в 1902 году в Москве уже образуется кружок горячих поклонников поэзии А. А. Блока, я старательно распространяю его стихи среди друзей и знакомых, стихи переписываются и передаются друг другу. Слава о юном поэте опережает его появление в печати. Уже утверждают, что первый из русских поэтов современности не Бальмонт, не Брюссов, не Гиппиус, не Сологуб, а Блок именно. В Москве первые оценили поэзию А. А.: С. М. Соловьев, О. М. Соловьева (его мать), А. С. Петровский, Е. К. Метнер, Н. К. Метнер, В. В. Владимиров (художник), его сестры, Эртель, Батюшков (московский теософ), Новский и др. К этому кругу людей причисляю себя, конечно, и я.

Оффициальные представители декаденства иначе относятся к стихотворениям Блока. В. Я. Брюссов в 1902 году признает их хорошими, но уступающими многим из молодых авторов того времени. З. Н. Гиппиус в 1902 году пишет мне о невероятном преувеличении мною поэзии Блока, которая-де есть пережитой субъективизм, пережитой ими т. е. Мережковскими, субъективизм. В 1903 или 1904 году она меняет первоначальное мнение, как и Брюссов.

Всякое письмо А. А. Блока этого времени к Соловьевым было показано мне и мною изучено, и казалось, мы с А. А. уже знакомы. Под впечатлением этого, как кажется, в январе 1903 года, я написал А. А. Блоку длинное письмо, которое начиналось с извинения, что я адресуюсь к нему, не будучи лично знакомым. В письме я высказывал, насколько помню, свое отношение к линии его поэзии. Письмо было написано в несколько «застегнутом», как говорят, виде. Предполагалось, что в будущем мы договоримся до интимнейших тем. Я поступил с этим письмом, как поступают «люди порядочного общества», впервые делая друг другу визит, т. е. я написал письмо философского и религиозного содержания, чуть ли не с ссылками на Канта и Шопенгауэра. Каково же было мое изумление: на следующий день по отправке письма я получаю толстый и характерный синий конверт с адресом, написанным рукою А. А. (его руку я уже знал).

А. А. в день написания мною письма почувствовал такое же желание, как и я, обратиться впервые ко мне. Мне этот факт совпадения наших желаний начать переписку показался весьма знаменательным. Первые наши обращения друг к другу скрестились, и наши письма встретились в Бологом.

Внешний же повод для письма А. А. ко мне — появление моей статьи в «Мире Искусства». Статья эта озаглавлена: «Формы искусства». Она носила академический характер, являлась резюме двух рефератов, прочитанных мною в студенческом обществе имени Трубецкого. Основная мысль статьи: формы искусств строятся по временной градации от косности пространственных форм к бескосному динамизму музыкального мира. Эволюция мира искусств — от зодчества к симфонической музыке. Во временном ряде музыка исторически позднее слагается, а в формальном ряде, она — совершеннейшее искусство. Упраздняя материал искусств, она генерал-бас всех искусств и первое зерно искусства будущего, которое в творчестве человеческих отношений, в мистерии жизни. А. А. Блок блестяще подходит в письме к теме моей статьи и основательно разбирает ее. Письмо столь характерно, что я привожу его. Вот оно: «Многоуважаемый Борис Николаевич, Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья . . . . . откровенна. Это «песня системы», которой я давно жду... Но меня глубоко тревожит одно в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде должен оговориться: я до отчаяния ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке, как об искусстве ни с какой стороны. Таким образом я осужден на то, чтобы вечно-поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было преувеличенного из музыки искусств. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то гадательно). Ко всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо не с точки зрения музыки искусств, а с точки интуитивной, от голоса музыки, поющей внутри и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу: есть ли Ваша статья только «формы искусств»? Конечно — нет. «Не имеем ли мы здесь немного превращения жизни в мистерию?» Следующая фраза еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в симфонии и в статье об Алениной. И, остановившись

на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик от того, что Вы (дай Бог, чтобы это было не так) заполонили всю жизнь «миром искусств». «Глубина музыки при отсутствии в ней внешней действенности наводит на мысль о номинальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия». Ведь Вы хотите служить музыке будущего! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы обошли в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо, во избежание соблазна. Здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба «неискусна» (ваша 344 стр.). Вы последнего слова не сказали и оттого последняя страница — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотами и последние слова слышны как то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось, тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее. А главное— какая это музыка там, в конце, под формой ли она искусства? Ведь это в руку эстетизма, метафизикам, «Новому Пути», «Миру Искусства». Вы гениально достигли полупути и вдруг свернули, улыбнувшись Мережковскому с его символом—соединением (σ и μ Βάλλω) — подумаешь, что все дело в предлоге и глаголе. Мертвая филология: «грех, проклятие, смерть, индийский Дионис с его «символическим» аттрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без созидающего хохота, с разлагающим хохотом arlekino Erl—König. Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички «запевающей» Зигфриду, «манящей», инфернальной, — о да, инфернальной. «Она влияет» — тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова инфлуенца — (influence) простите за каламбур. Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный Всадник на болоте, на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к З. Н. Гиппиус, подписанное «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в «Новом Пути», но я не видел журнала. В этом письме все белое, целый свод апокалиптической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного», конечно, Верлэна. Но ведь «музыкальная сфера» — мифологическая глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам . . . . . Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши-же цитаты, единственного неязыче-

ского титана, гласят: «бывшие мгновения поступью беззвучной»... и т. д. (359). Разве это о том? Ведь это вот что: «страсти волну с ее пеной кипучей тщетно желаньем, дитя, не лови, вверх погляди на недвижно могучий, с небом сходящийся берег любви». Весь вопрос теперь в том, где последняя музыка, лучше сказать то, что перестает быть музыкой-искусством как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности», — и действительно ли Вы считаете номинальной только такую музыку (уже не искусную)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где летят границы между феноменальным и номинальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»? Есть ли это последняя музыка — яблоня, осыпающая монашку белыми цветами забвения. (Вторая Симфония, 4 часть) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»). Есть ли это грустно-задумчивое? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (или только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка ведущие сны» или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам, снявшему покровы и полюбившему вечность? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездну вопросов, потому что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить «белое». От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понятно, что центр ..... конечно не в соединяющем две бездны Мережковском и пр. И поэтому хочу кричать Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам необходимо сказать больше, вопить о границах, вопить о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных Ворот, тем более, что вся глубина, вся субстанция Ваших песен об искусстве — белая, не бездонная, не безобразная. Необходимо, чтобы Вы сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» ..... (Симфония II)... Пора угадать имя «Лучезарной Подруги» и пронести знамя веящее и без складок: в складках могут «прятаться», от складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро в мгновение ока». К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих). В статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас Кантовской теории познания). Вам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И будет легче, когда будет слышно цветение Вашего сердца».

Преданный Вам *А. Блок.*

«Петербург, 3 января 1903 года».

А. А. Блок с чрезвычайной чуткостью ухватывает слабые пункты моей юношеской статьи. Она написана академически. Музыка, влияющая на изменение человеческих отношений, — музыка-ли? Он ухватывает тот факт, что самой музыкой, как формой искусства, я оперирую двояко: с одной стороны музыка у меня только музыка, с другой стороны она «музыка» совсем в ином смысле — она символ души мировой стихии, или той, кого Соловьев называл «Темного хаоса светлая дочь». И вместо того, чтобы смело, с открытым забралом, выбросить свой новый лозунг жизненного преобразования, вместо того, чтобы заговорить о Софии Премудрости, по новому соединяющейся с человеком (Антропо-Софии), я таинственную Лермонтовскую «полумаску» превращаю в «маску», и этою «маскою» для непосвященных является для меня музыка. Эта подставка тривиального, ничего не говорящего знака эпохи вместо имени и лика самой эпохи, которая несет нам благовестие Девы-Зари-Купины, эта подмена с моей стороны есть слишком осторожное отступление от смелого революционного боя с рутинным сознанием современности, к которому все истинно новое призвано. Тут А. А. Блок в 1902 году опять таки выступает с огромным максимумом, с тем мистическим анархизмом и реализмом, который зачастую в его умственно-моральных исканиях преувеличивается до желания воплотить символ в самую косность материи, (впоследствии оба мы слишком натолкнулись на грубую кору вещества. А. А. прямо-таки не удержался, больше того — разбился, что и вызвало обратную иллюзионистическую форму его поэзии, начиная с «Балаганчика» и «Нечаянной Радости»). В письме А. А. приведена одна моя фраза о музыке — «она влияет». Как? Влияет инфлуенца — этим он хотел сказать, что нам, призванным концентрировать до nec plus ultra мистику соловьевства, не следует распыляться в эстетических личинах. Все письмо написано скорее афористическим стихом, дышет игрою и юмором. Оно одновременно и восхитило и озадачило меня: живого Блока я не представлял себе таким. Я его представлял более тихим, экстатически созерцающим. Ум, юмор, соединенный со скепсисом, показал мне в высоко ценимом поэте, в «мистике» и просто умного человека. Интеллектуалиста я менее всего ожидал встретить в Блоке.

Помнится, я тут же написал ему длиннейшее письмо-разъяснение и кажется успел получить ответ на него. Между нами готова была возникнуть нескончаемая переписка, но случилось событие, потрясшее и его и меня (меня, вероятно, гораздо сильнее), — неожиданная болезнь и смерть М. С. Соловьева и трагическая кончина в ту же

ночь О. М. Соловьевой. В одну ночь кончилось бытие дома, в котором в продолжение восьми лет я бывал чуть ли не каждый день и который был для меня второй родиной, не говоря уже о том, что в этом доме завязались мои первые литературно-общественные связи (хотя бы с А. А. Блоком, с петербургскими литературными кружками, сгруппированными вокруг Мережковского, и московскими, сгруппированными вокруг Скорпиона). Здесь получил я от А. А. лишь несколько слов, исполненных необыкновенной нежности, участия и грусти, которые показали мне его совсем с другой стороны, показали его, как сердечного, чуткого, нежного человека.

Помнится, на похоронах Соловьева 9 января 1903 года, встретившись с madame Манасеиной и с П. С. Соловьевой, знакомыми с А. А., я много распрашивал их о нем, но не получил никаких конкретных сведений, — и madame Манасеина, и П. С. Соловьева мало интересовались поэзией Блока, увлекаясь более кругом тем Мережковских.

В скором времени возобновилась наша теоретическая переписка с А. А., которая продолжалась без перерыва весь 1903 год, до нашей встречи в Москве в самом начале 1904 года.

Мне трудно охарактеризовать эту переписку. Часть ее, я думаю, могла бы скоро появиться в свет, она носит менее всего личный характер, скорее содержание ее — литература, философия, мистика и «чаяния» молодых символистов того времени. Это блестящий интимный литературный дневник эпохи. Такова переписка этих писем. Она блестяща. Мысль бьет здесь ключом. В них А. А. кипучее, острее, непринужденнее, нежели в статьях своих. Его амплуа — не статьи, а именно дневники, письма. Недаром впоследствии неоднократно хотел он журнала-дневника одновременно. Он пытался, чтобы такой журнал-дневник трех писателей—его, Вяч. Иванова и меня—возник при книгоиздательстве «Мусагет». «Записки Мечтателей» позднее в 1919 году, пытались стать этим дневником.

Возвращаюсь к нашей переписке 1903 года. Несмотря на всю теоретичность ее и литературность, основной стержень писем ко мне А. А. требует вдумчивого комментария, быть может, превышающего в несколько раз текст писем: всюду, сквозь литературный стиль писем просвечивает тот внутренний жаргон, на котором мы, молодые символисты, говорили друг с другом. У нас были свои определения, — и очень сложные психологические переживания фиксировались одним словом, понятным для нас, но не понятным для «непосвященных» современников, ни для более молодых литературных школ, к худу ли,

ко благу ли скоро утерявших этот жаргон и выражавшихся прямо: что на уме, то и на языке, — пресловутая Кузьминская «прекрасная ясность». Правду сказать: о «прекрасной ясности» мы нисколько не думали, или если и думали, то в одном смысле: достаточно ли ее было до нас в «сократический» период всевозможного нигилизма и позитивизма? Вообще мы не думали о форме, не слишком думали даже о литературном стиле. Проблема, которая мучила нас, была проблемой внутреннего зрения и слуха — мир неуловимых шорохов, звуков и поступей, по которым мы старались угадать приближающуюся эпоху. В этом смысле письма А. А. Блока ко мне, без комментарий и освещения нашего тогда эпизотеризма, были бы непроницаемы в своем темном ядре. Это «темное ядро» писем А. А. ко мне ничего не стоило бы прояснить, т. е. обложить догматами метафизики Влад. Соловьева, — тогда выявился бы просто и ясно парадоксальный и несколько комический костяк наших вопросов друг к другу: «а что есть Прекрасная Дама», «в каком отношении она находится к учению Влад. Соловьева о будущей теократии», «в каком смысле она церковь в космосе и царица семистолпного дворца поэзии Вл. Соловьева», «в каком отношении учение о Софии-Премудрости В. Соловьева стоит 1) к метафизике, 2) к церкви, 3) к учению Конта о великом Существе человечества, 4) к гносеологии Канта, 5) к рыцарскому культу Прекрасной Дамы средневековья, 6) к Беатриче Данте к Ewig Weibliche Гете, 7) к учению о любви Платона, 8) к личной биографии Вл. Соловьева, в которой одно время образ «Трех Свиданий» биографически подменялся несколько романтической дружбой его с С. П. Хитрово. Как видите, темы необъятные по количеству углубленнейших вопросов, которых, конечно, не было никакой возможности разрешить нам, молодежи того времени, еще не одолевшей как следует таких титанов, как Данте, Платон, Гете, Кант. Но проблема времени поднимала все эти вопросы, мобилизовала их вокруг острия всей культуры: нового синтеза всех интересов, историей поднимавшихся тем вокруг новой фазы человеческой жизни, в которой личные и конкретные отношения друг к другу (в любви, братстве, в проблемах пола, семьи и т. д.) должны были отображать сверхчеловеческие отношения космоса к логосу, где космическим началом является София гностиков, воскрешенная Вл. Соловьевым в гущу самых злободневных тем русской общественной жизни конца XIX-го столетия, а началом логическим является рождение нового христианского слова — мысли, точнее говоря, христологии. Перерождая логику в христологию, а природу в Космос-Софию, Вл. Со-

ловьев бессознательно выдвигал чисто антропософскую тему, ибо пересечение Космоса-Софии и Логоса-Христа—в столкновении душевных начал человеческого сознания с духовными. С точки зрения нашего тогдашнего мировоззрения, противоположение души и материи сливается в Духе, обнимающем и материю и душу в действительности, воплощаемой вечностью. Об этом воплощении вечности в жизни шла речь для нас в лозунге Соловьева» «Знайте же: вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет»... Разумеется, мы не могли охватить в целом идеологического, гносеологического и психологического обоснования новой системы конкретной философии, напоминающей гегелевский синтез, но только более широкий: Гегель для нас лишь абстрактно проделал тот путь. Огюст Конт проделал в своей «Социологии» абстрактно тот же путь. Мы должны были соединить Гегеля, Конта, Вл. Соловьева с индивидуальнейшими отражениями in concreto системы жизни в жизнях отдельных людей, — Данте, Гете и т. д. Ясно, что философски мы скорее говорили о стиле будущих, еще не написанных философий, чем строили подобную философию. Кстати замечу: в замечательных исследованиях С. Н. Трубецкого «о конкретном идеализме» и «о природе человеческого сознания» уже смутно намечаются новые пути философского искания мысли, как намечаются они-же в замечательных лекциях Рудольфа Штейнера «о сущности антропософии», где в 1913 году немецкий мыслитель прямо возвращает меня к темам пережитой уже в то время нашей переписки с А. А.

Всем этим я хочу сказать, что тема «Стихов о Прекрасной Даме» вовсе не есть продукт романтизма незрелых порывов, а огромная и по сие время не раскрытая новая тема жизненной философии, Нового Завета, Антропоса с Софией, проблема антропософской культуры грядущего периода, шквал которого — мировая война 1914 года и русская революция 1917 — 18 гг. Вместо того, чтобы всею душою осознать все эти темы, ведущие во-истину к новой мистерии и проблеме посвящения, вместо того, чтобы переработать именно нашу волю, мысль и чувство в медленном умственном, сердечном и моральном праксисе, мы, вынужденные молчать и таить среди избранных эзотеризм наших чаяний, были ввернуты в нравственно развращенную и умственно варварскую среду литературных культур-трегеров того времени, людей, весьма утонченных и образованных в узкой сфере литературы, стиля и общественных дел и «варваров» в отношении к проблеме, над которой гении вроде Гете и Данте висели десятилетиями. Вместо того, чтобы пойти на выучку

к этим последним, мы скоро завертелись среди рецептов гг. Брюсовых и Мережковских и прочей литературной отсебятины, быстро выродивших в нашем сознании темы огромной ответственности, новизны, глубины.

Эти темы, оформленные поверхностно, скоро карикатурно всплыли вокруг нас, изображая нас чуть ли не шутами собственных устремлений. С моей точки зрения А. А. слишком быстро посмотрел на самого себя со стороны оком прохожего варвара, литературного собрата по перу и вследствие ряда несчастных стечений обстоятельств в его личной, литературной и моральной биографии, незаслуженно осудил в себе темы этого времени в драме-пародии «Балаганчик», бьющей мимо его же собственных писем ко мне эпохи 1903 года. Всматриваясь, я до сих пор, с риском впасть в полемику, отстаиваю А. А. 1901—03 гг. от А. А. 1907—08 гг.

В этих письмах и в последующих встречах в Шахматове, в разговорах, в которых принимали участие А. А. Блок, его мать, жена, С. М. Соловьев, я и А. С. Петровский, гостивший со мной у Блока в 1904 году, мы все время осторожно нащупывали основную, так сказать, музыкальную тему новой культуры, лик, имя рек этой культуры, то в литературных аналогиях, то в религиозно-догматических разрезах, то в терминах философии, то в смутных образах мистических, целинных, полусознательных переживаний. Наши разговоры, жаргон и словечки требуют такого же комментария, как и жаргон бесконечных гегелевских разговоров кружка Станкевича, где неистовый Виссарион, переживавший в имении Бакуниных ряд чрезвычайных моральных переживаний, посвящался неукротимым Мишелем Бакуниным в ритуалы Фихтевской философии (а впоследствии им же был посвящен в ритуалы и Гегелевской философии), и, подобно тому, как отвлеченнейшие проблемы гегельянизма тогдашней молодежью протаскивались в самые интимные уголки того времени, так что Мишель Бакунин измерял и взвешивал сердечные отношения своих друзей с Гегелевской точки зрения и даже корректировал их гегельянски, непроизвольно просовывая свой нос в романы друзей, так и мы с А. А. Блоком стремились подойти сразу ко всем проблемам жизни, литературы и мысли с точки зрения нового пути жизни, философию, этику и социологию которого следовало бы еще написать (она пишется, быть может, еще в десятилетиях XX века всей тяготою испытаний этого века). Положение Бакунинского кружка было проще: он имел Гегеля позади себя, нами чаемый Гегель был впереди нас, — его мы должны были создать, потому что

Вл. Соловьев был для нас лишь звуком, призывающим к отчаливанию от берегов старого мира. Характерно, что в скором времени московский кружок символистов провозгласил себя «аргонавтами», т. е. сообществом, имеющим целью отыскивать Золотое Руно.

Из переписки А. А. со мной в конце 1903 года уже явно звучит разность подхода к темам Прекрасной Дамы — нашего «Золотого Руна» или «Действительности» Гегеля. В то время, как я системою вопросов стараюсь создать многообразные грани подхода к пониманию тем, связанных с Прекрасной Дамою, т. е. дать этой теме формально гносеологическое обоснование извне и оставить Ее безымянной музыкой в ее внутреннем ядре, А. А. Блок, уже упрекавший меня в музыкальном распылении тем новой культуры, моему идеалистическому обоснованию символа противополагает реалистическое, в котором метафизическая оправа Соловьевского учения о Софии звучит как новый религиозный догмат, а жизненное ядро оказывается в сфере уже воплощенного символа: «будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц». В этом отношении характерно одно из писем А. А., рисующее его как максималиста-догматика, старающегося очертить образ Той, имя которой он пишет с большой буквы.

Привожу это письмо: «Многоуважаемый и милый Борис Николаевич, Ваше письмо удивило меня неожиданностью. Я не «содрогнулся брезгливо», потому что часто думал о таком «логическом высвечивании», но чем дальше, тем больше чувствую «невозможность синтеза» и всяких мостов, а потому хотел молчать. Сначала Ваши вопросы показались мне чисто диалектическими и догматическими, но потом я подумал, что они представляют скорее «психологический вопросник», потому что вызваны всем предыдущим, а не априорны. Поэтому мне и хотелось бы ответить на некоторые из них, как на психологические, «подумав», а не «придумав». Молчать необходимо, когда придумываний больше не нужно и когда они в лучшем случае представляют игру хотя бы и безгрешную. Прежде я думал о Ней чаще, чем теперь. Теперь все меньше и все безрезультатнее. Два преобладающих настроения (может быть у Вас, как у меня), — мистическое и скептическое, равнодушное. Первое «просит» не отравлять его мыслью (просит, как только может просить бирюзовая вечность своего раба, скорее приказывает), а второе — или обязывает мысль к молчанию, или направляет ее к тому, чтобы она знала свое место. Потому мыслить в этом направлении о Ней мне представляется наименее доступным способом

проникновения. Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя. Поэтому, непророкам приходится разбавлять вино мистицизма его водой. Если бы этого не было, то вероятно доступнее было бы и мышление о Ней, — оно имело бы интимную силу, собирало бы под свои знамена больше, чем теперь. Теперь же «мистический разум» только зарождается, повидимому. А потому наличность известного «опыта» отрешает от многих прежних попыток и замыкает, съуживает круг. Без съуживания невозможно «прожить», нужно по крайней мере углубляться, если нельзя идти в ширь. Непременный удел зовущих на брань народы или общества — стояние «идолом над кручей, раздирая одежды свои». Потому что «рано». Это — раннее утро, пусть розовое, но позвольте голосу достигнуть туда, куда он стремится. Значит Она еще только потенциально воплощена в народе и обществе. Удел зовущего на брань отдельное лицо...

... Поэтому, мне кажется, Она скорее может уже воплощаться в отдельном лице. Потому то и доверия к отдельному лицу больше, чем к народу и обществу. Для взывания к лицам можно удерживаться в «своей среде», для взывания к народам приходится уродиться гигантом или довести себя до парения и мистического безразличия на случай окружающей глухоты «спящих». Таким образом я думаю что приближается Она ко всем лишь в потенции, а к отдельным личностям уже в действительности. Вопрос, в какой мере (настроением, дуновением или «под оболочкой зримой»).

Я чувствую ее как настроение чаще всего. Думаю, что можно ее увидеть, но не воплощенную в лице, и само лицо не должно знать присутствует Она в нем или нет. Только минутно (в порыве) можно увидеть как бы тень Ее в другом лице. Это не исключает грезы о Ней, как о Душе мира, потому что именно для мистика она ближе, чем народы, целое понятнее части, макрокосм, как и микрокосм ближе, чем все посредствующие между ними звенья (общество, народ, земной шар). Таким образом общество в отношении к ней не является мистически заинтересованным, и извергается. Здесь именно очередной вопрос об Ее отношении к Христу, ибо Христос не разделен с обществом: «Приидите ко мне все труждающиеся»... — есть знак доброты Христа. Христос всегда Добрый, у Нее-же это не существенно, ибо «свет немеркнущий новой богини» есть не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее и в «славословии, благодарении и прошении» всегда прибегаю к Ней. Из догматов нашей церкви Она, думается, коснулась самых

непомерных: троичности лиц и непорочности зачатия. Первый, заключающий в себе «мысль» о Святом Духе и наводит на замирание души о том, Она-ли Святой Дух Утешитель. Второй ясно отмечает Ее след, но не обязывает к вере в тожество Ее и Божьей Матери. Тем менее обязывают к такой вере примеры других писаний кроме Священного — (Офелия, Гретхен, наша современность). Величайшим понятием, которое мы можем вместить, является Конец Мира, а потому это понятие несомненно связывается с Ней. В Свящ. Писании намеки о Ней также несомненно связаны с концом. Эти два понятия, Она и конец, в совокупности бросают более ясный свет на всю картину настоящего и прошедшего. Под их «влиянием» (Ваше: «она влияет») рассматривая, например, лица людей, можно уследить на них мерцание... Тут уже начинается не равнодушие, а соблазны: 1) «образы» ли только, или идущие навстречу прообразы; 2) может ли прообраз стать тем, что он отображает; 3) чей образ отражается на данном лице — Ее или Астарты; I) — прообраз не довлеет концу, конец довлеет только прообразу; мысль о ней всегда несет в себе зерно мысли о Конце. Значит, если лицо несет Ее печать, оно прообразует нечто. Вопрос переходит непосредственно к третьему — чей образ отражен. II) — этот вопрос черпает утвердительный ответ только в крайнем мистицизме... III) — вопрос по моему самый существенный, ответ на который может быть не утвердительным или отрицательным, а утешительным или неутешительным. Соблазны: Астарта незабвеннее Ее в жизни. Астарта, действительно переплетается вокруг Нее. Не утешительно ли здесь констатировать такой факт: Астарта выражена всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия (в широком смысле, если его выразить прямой): в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике (физический центр — головной и спинной мозг). Первое ясно. Второе подтверждается примером после сократовских и софистических школ.

Она изгоняет ту и другую чувственность. Астарта «подвижна». Это одно из главных ее признаков. Главным «утешением» является, я думаю, не диалектическое развитие различия Ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это при мистическом состоянии. Но вопрос столь красуголен, что необходимо ввести скептицизм. С начала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистики) остается «незабвенной» одна Астарта, потерявшая свое древнее имя и свои религиозные краски.

На такой вполне невыгодной позиции стоит логический угол зрения на Нее. Впрочем, едва ли вы назовете его истинно логическим, а между тем, я затрудняюсь совсем залезть в холодную воду и хочу разбавить логику хоть своей психологией. На ваши вопросы я не ответил вполне прямо и не знаю возможно ли это. Все таки попробую придти к некоторым заключениям. Вы верите больше всего знанию непосредственному, как я понял. Если это так, то пожалуй, на почве этого непосредственного знания нельзя быть более логичным.

Итак, мыслить о Ней приходится все реже и реже, но усвоенные мысли о Ней таковы: Она единственна в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет. Ощущение Ее странно и в высшие моменты вполне отлично от Астарты. Здесь выступает Ее недвижность...

Милый Борис Николаевич, Вы знаете все это. Мне кажется, что я ничего нового вам не уяснил. Я ведь только наметил пункты ответов на самые существенные ваши вопросы. Главное, на чем здесь должна, мне кажется, остановиться мысль — это предварительный скептицизм, даже самый грубый, «оправдывающий» забвение о Ней, врожденный нам. Он лежит в основе мистицизма, построенного не на песке и составляет тот страх, который «изгоняет совершенная любовь», то, что лежит за гранью скептицизма, точнее, что познается молчанием логики. «Очистку совести» я понимаю, но не хочу с ней согласиться именно в силу одного из главнейших моих пунктов: Добр Христос, но не Она, потому что Она окончательна. Совесть же в отношении к Ней являлась бы мерилом Добра. Она, если и Добра, то в эстетических воплощениях (у поэтов), как, например, у Фета (Пой, добрая) или у Бодлэра (A la très bonne). Сознание о Ней едва ли углубилось со времен Гете, — оно, пожалуй только расширилось: вместо помещения Ее престолов по ту сторону, теперь помещают и по сю сторону, иначе говоря «благосклонно расширяют Ее территорию» и «сферу власти». Грех этой «благосклонности» лежит, разумеется, на поэтах, которые молчанию не научились. Но не нужно ли и им замолчать? И это для меня под сомнением... Я ничего не слышал о А. Н. Шмидт и не получал от нее письма. Я не имею никакого понятия о Сереже. Если напишете, где он, буду благодарен. Пишите пожалуйста, хотя отвечаю Вам часто не по существу Ваших вопросов, но все так ново, так странно, несмотря на частые скептические выходки ума.

Преданный вам и любящий вас А. Блок».

Bad Nauheim.

18 июня/1 июля 1903 г.

Это письмо я считаю типичным для понимания тех вопросов, которые нас связывали с А. А. и которые требуют бесконечного углубления. Пусть прочтут эти письма, — посмеются над ними, в ком есть сила смеяться, но, думаю, что и задумаются. В этом письме характерно обилие словечек и наличность того жаргона, который был для нас в отошедшие годы «нашим» жаргоном, где слова фиксировали трудные, не поддающиеся часто логическому объяснению моменты переживаний и моменты восприятий веяний, которые мы относили к Ней.

Прекрасная Дама по А. А. меняет свое земное отображение, — и встает вопрос, подобный тому, — как Папа является живым продолжением апостола Петра, так может оказаться, что среди женщин, в которых зеркально отражается новая богиня Соловьева, может оказаться Единственная, Одна, которая и будет естественно тем, чем Папа является для правоверных католиков. Если Папа есть наместник Христов Второго Завета, то Она может оказаться среди нас как естественное отображение Софии, как Папа своего рода (или «мама») Третьего Завета. Разумеется, что ничего подобного в письмах А. А. Блока ко мне нет, но весь стиль их, весь подход к проблеме таков, что они волят к такому выводу. Этого вывода я боюсь и оказываюсь в нашей переписке того времени своего рода меньшевиком-минималистом. Думаю, что близкие отношения А. А. Блока к С. М. Соловьеву, очень склонному в то время к такого рода догматизированию тем нашего веяния, способствовали и укореняли в нем этот максимализм. Это и был период сближения А. А. Блока с С. М. Соловьевым, тогда поливановцем, гимназистом седьмого класса, только что перенесшим потерю отца и матери. Все, что я слышал от С. М. Соловьева за это время об А. А., дышало какой то особой теплотой. С. М. тогда только что вернулся из Киева, куда он поехал после кончины родителей и где был ласково принят, как родной, в доме кн. Трубецкого, тогда еще киевского профессора. По возвращению из Киева, он поселился на Поварской, в небольшом домике, с прислугою. Бабушка его А. Г. Коваленская заботливо приняла на себя хлопоты по устройству его маленького хозяйства. Посещали его весьма часто: я, Г. А. Рачинский, его опекун. В этой маленькой квартирке на Поварской продолжались наши вечерние встречи с С. М., в которых было «много, много дум, и метафизики, и споров». А. А. Блок, его поэзия, его личность, даже события его биографии были часто темой наших бесед. С. М. Соловьев одно время после смерти родителей, впал, я бы сказал, в поэтически-догматический тон, ста-

раясь чуть ли не в ясных теологических догматах фиксировать то новое, что мы все трое (А. А. Блок, он и я) ощущали как наступление новой религиозной эпохи. Думаю, что начавшееся тогда в письмах сближение его с А. А. отразилось в свою очередь на письмах А. А. ко мне, где он выступает с более четкими, парадоксальными для многих контурами своего мировоззрения и где я играл роль своего рода кунктатора и философского обоснователя наших взглядов. Это был период, когда среди сочинений Вл. Соловьева меня особенно занимала «История и будущность теократии» и «Статья об Ог. Конте».

Скажу откровенно: то, что вынашивалось нами троими в сознании, не имело определенных философских контуров, как бы нащупывало эти контуры из сопоставлений разных сторон многих миросозерцаний. Извне то, о чем мы говорили, казалось бы синкретизмом, где Платон, Филон, учение о логосе кн. С. Н. Трубецкого, Вл. Соловьев, Конт, Гартман встречались в своеобразных сочетаниях «гротеск». Но, повторяю, безобразный и внерассудочный звук наших исканий был внятный для нас, ясный, конкретный и вполне новый, — (мы не умели лишь обложить его миросозерцательными словами) — и насколько более глубокий и оригинальный, нежели тогда начавшиеся искания, сгруппированные вокруг «Нового Пути», органа Мережковских, к которому мы относились со все возрастающим разочарованием! Кстати сказать, с Мережковским я продолжал состоять в переписке, но я утратил в ту пору остроту интересов к его темам, казавшимся ветхими и не улавливающими того «звука» эпохи, к которому прислушивались мы.

В это время я уже знал, что у А. А. Блока есть невеста, петербургская курсистка, дочь знаменитого химика Д. И. Менделеева, к которой мы проявляли особенный интерес, полагая à priori, что то внимание, которое ей уделяет такой замечательный человек, как А. А., особенно отличает ее. Мы прослеживали в стихах А. А. того времени, как тема его лирики отображает им любимую девушку и как она переплетается с другой темою, темою о Прекрасной Даме. Наконец, мы ощупывали пересечение этих тем в третьей теме, и не могли понять, в какой мере нота Софии, Души мира, соединена с обычною, чисто романтическою темою любви. Например, в стихотворении А. А., полученном нами приблизительно в это время, я не мог понять, к кому, собственно, относятся нижеследующие строчки — к Л. Д. Менделеевой, или к Деве-Заре-Купине:

«Проходила Ты в дальние залы
Величава, тиха и строга...
Я носил за Тобой покрывало
И смотрел на Твои жемчуга»...

С одной стороны здесь «Ты» с большой буквы, — нужно полагать — небесное видение, с другой стороны — за небесным видением покрывала не носят (покрывало, боа, веер, не все ли равно). И серьезно, мы обсуждали вопрос о том, как возможно сосуществование земной встречи с небесной встречей и в какой мере возможно сочетание земного и небесного. Здесь опять выступают шуточно-карикатурные штрихи наших серьезнейших вопросов, имеющих целью разрешить все конкретности бытовых, национальных и даже социальных отношений в свете нового восприятия действительности. Мы с С. М. Соловьевым были теми «Мишелями», которые в многостраничных письмах по всем правилам гегелевской философии анализировали интимные отношения Станкевича к одной из сестер Бакунина и довели этим бедного Станкевича до того, что он бежал заграницу, может быть не только вследствие своей болезни, но и вследствие гегельянизирования друзьями его сердечных отношений. И был прав, может быть, А. А., выставив впоследствии непрошенных теоретиков воплощения сверхличного в личной жизни, в виде дурацких «мистиков» своего «Балаганчика».

В 1903 году весной, помнится, в начале марта я получил приглашение от А. А. приехать в Шахматово на его свадьбу, с просьбой быть шафером его невесты. С. М. Соловьев получил в свою очередь также приглашение быть его шафером. Мы дали согласие. Было решено, что летом мы соединимся в Шахматове. Свадьба была назначена на август 1903 года.

Не задолго до этого вышел третий альманах «Северных Цветов», в котором были первый раз напечатаны, как стихи А. А. под заглавием «Стихи о Прекрасной Даме», так и мои. Мы впервые появились как поэты вместе, но я тогда уже сознавал совершенно отчетливо, насколько я, как поэт, уступил совершенно несравненным нотам поэзии А. А.: он умел выговорить в стихах свою центральную, нутряную, почти словами невыразимую ноту. Я более владел прозою, в стихах же не умел коснуться того, что составляло центральную ось моих внутренних устремлений. В невыраженной части своей души я был несравненно ближе к теме стихов А. А., чем в выраженной: все эти беклиновские кентавры и фавны, с которыми я выступал, не удовлетворяли меня самого, как поэта, — они были

выражением внешней лирической зыби, а не внутреннего динамизма творческих устремлений моих.

Весною 1903 года обрывается наша переписка: А. А. уезжает в Бад-Наугейм. Я держу государственные экзамены. В конце мая умирает отец. Эта кончина, нервное переутомление после экзаменов ослабляют меня: я чувствую, что просто не соберусь с силами ехать на свадьбу А. А. Пишу А. А. об этом. Первая половина июня окрашивается для меня «блоковскими» темами. В день похорон отца ко мне пришел знакомиться покойный теперь писатель Л. Д. Семенов— (впоследствии революционер добролюбовец, тогда студент-монархист еще, поэт, захваченный в круг тем, обсуждавшихся «Новым Путем» и еще более в круг тем, связанных с поэзией Блока). Он писал стихи, подражая Блоку. Мы много говорили на темы поэзии А. А. и о самом А. А., с которым Семенов был лично знаком. Мы совершали частые прогулки к Ново-Девичьему монастырю, посещали могилы отца, Вл. Соловьева, супругов Соловьевых. Средь летней задумчивой обстановки звучали темы стихотворения А. А., написанного несколько позднее:

«У забытых могил пробивалась трава,
Мы забыли вчера. И забыли слова,
И настала кругом тишина...»

Разговоры о вечности среди тишины могил опять таки по новому вызывали звук поэзии Блока. Я смотрел на Ново-Девичий монастырь глазами уже мною написанной Симфонии. Мы обходили могилы; задумывались о будущем:

«Где впервые в мои восковые черты
Отдаленною жизнью повеяла ты,
Пробиваясь могильной травой...»

Л. Д. Семенову я глубоко благодарен за эти две-три проведенных вместе московских недели. Скоро я уехал в деревню.

Помнится, осенью я получил письмо от С. М. Соловьева, тогда только что вернувшегося со свадьбы А. А., письмо, из которого я мог лишь понять, что он чем-то потрясен и радостно взволнован. По возвращении в Москву в конце сентября 1903 года я так и не узнал от С. М. подробностей этой свадьбы. Я понял только, что весь строй переживаний С. М. скорее напоминал настроение человека, только что посвященного в мистерию, чем настроение шафера, возвращавшегося со свадьбы. По его словам природа Шахматова и Боблова

(имения Менделеевых), и погода, и свадебный обряд, — все было пронизано какою-то необычайною, непередаваемою атмосферою, — и прозвучал звук эпохи, над которым мы медитировали. Можно сказать, что именно в это время я менее всего был расположен вникать во все эти подробности, но я понял одно, — что свадьба А. А. Блока не есть обывательщина, а какой то подход к разрешению нами поставленных задач: соловьевство и тут присутствовало. Я видел в С. М. Соловьеве того времени какую то особенную преданность всему семейству Блоков, — ему, его матери, его жене. Он описывал мне всех персонажей этого бракосочетания, обычно меняя тон, переходя от серьезнейших задушевных нот к ему свойственному юмору, изображая в лицах старика Менделеева, его жену Анну Ивановну, Любовь Дмитриевну, жену поэта, самого А. А.: помнится мне, его особенно поразил один из шаферов отношением к обряду и теми разговорами, которые он вел с ним. Он был «наш», т. е. по тогдашнему жаргону, посвящен в эзотеризм наших восприятий действительности, человеком Третьего Завета и, стало быть, убежденным теократом. По словам С. М. Соловьева он не только понимал неописуемое настроение шахматовских дней лета 1903 года, но понимал то, что нам непонятно. С. М. Соловьева поразило то обстоятельство, что этот молодой человек, как кажется, только что окончивший университет, поляк и католик, должен был ехать навсегда в Польшу, чтобы поступить там в какой то монастырь. Это был граф Развадовский. С. М. говорил мне, что у него какой то особый религиозный культ восходящей звезды. Поиски этой «звезды» и повели его в монастырь. И А. А. писал мне приблизительно в это время следующее о гр. Развадовском: «Милый и дорогой Борис Николаевич, Осень озолотила и прошла. В ту минуту, как я пишу вам запоздалый ответ, может быть один «из нас» (не нас с вами, а нас нескольких, «преданных испанской звезде») идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать это, а если бы и имел, то не был бы в праве сообщать об этом даже Вам, но теперь, теряясь в области предположений, хочу известить о них непременно. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева. Лично у нас с ним как то (даже когда-то, хотя я не знаю, когда) нечто перекликнулось большое, потерявшееся потом «в лазурном безмирном своде».

Характерно: фамилия этого графа Развадовского только раз всплыла на внешнем разговоре с А. А. — именно в последний, когда весной этого года, перед отъездом в Москву А. А. был у меня с Р. В.

Ивановым и С. М. Алянским. Мы с А. А. как то случайно перешли к разговору от критики струвевского журнала (издававшегося в Софии) к русским, находящимся в Юго-Славии, к славянскому и польскому вопросам: и тут А. А. сообщил мне о каком то польском епископе, очень реакционно настроенном и действующем в Польше, припомнив, что его светская фамилия — граф Развадовский. Тут А. А. улыбнулся мне и сказал: «знаешь, ведь это, вероятно, тот самый Развадовский». Я по улыбке, которая появилась у него, понял, что он намекает на ту, далеко отошедшую эпоху, когда шафера А. А., присутствовавшие на его свадьбе, один — ждал наступления нового теократического периода, мирового переворота чуть ли не на свадьбе А. А., а другой — прямо со свадьбы отправился за поисками «звезды», и эта «звезда» привела его, быть может, лишь к реакционной епископской тиаре.

С осени 1903 года до самого начала 1904 мне пришлось отвлечься и от переписки с А. А. и частью от тем, с нею связанных. Это было в Москве очень шумное время: все то, что подпочвенно сочилось в сознаниях отдельных людей нового направления, теперь выявилось, сгруппировалось в кружки. Был кружок молодых писателей, сгруппированных вокруг книгоиздательства «Грифы», был кружок «Скорпиона», был теософский кружок, образовался кружок, сгруппированный вокруг моих воскресений, который Эллис (Л. Л. Кобылинский) прозвал «аргонавтическим». Мы, аргонавты, не имели своего органа, но мы вливались и в «Грифы», и в «Скорпион», и организованные впоследствии «Весы», и в убогую «Свободную Совесть», позднее в «Общество Свободной Эстетики», — в дальнейшем в «Дом песни» и в «Моск. Религ.-Филос. Общество. Объединенные одно время Мусагетом, мы перекинулись в молодой кружок покойного скульптора Крахта. С 1903 до 1912 года длится весьма активная литературно-общественная нота на бумаге не существовавшего кружка «аргонавтов», которые в 1905 году существовали (правда, очень короткое время) под видом революционного десятка с кличкой «аргонавты». Душою, организатором и толкачем на все парадоксальное был Л. Л. Кобылинский, слабый теоретик и поэт, но в жизни талантливейший человек с проблесками почти гениальности. В 1903 году только еще возникающий кружок аргонавтов собирался у меня по воскресеньям. В его состав входили то одни, то другие. Важен был импульс целого коллектива, а не тот или иной член коллектива. «Аргонавтами» с 1903 до 1907 г. считались: Эллис, я, А. С. Петровский, С. М. Соловьев, П. Н. Батюшков, М. Л. Эр-

тель, С. А. Челищев, В. В. Владимиров, Г. А. Рачинский, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нюлендер, Н. И. Астров, М. П. Поливанов, Н. И. Петровская и др. Роль аргонавтов была ролью импульсаторов, согревателей душевным динамизмом самых разнообразных течений, перекрещивающихся в «аргонавтическом» русле и впоследствии распавшихся и многообразно оформившихся [1]). Но главной задачей аргонавтов было вынашивать и оформлять тогда слагавшуюся школу символизма. Думаю, что вся идеология московской фракции символизма созрела не в «Скорпионе» и не в «Весах», а в интимных беседах и разговорах среди молодых символистов аргонавтического толка. С 1903 года местом наших собраний и встреч были главным образом — мои воскресенья, где кроме тесного круга друзей, обычными посетителями были молодые поэты «Скорпиона» и «Грифа», а также Бальмонт, Брюссов, С. А. Соколов с женой (псевдоним Нина Петровская), Г. А. Рачинский, Поярков, С. Л. Кобылинский (брат Л. Л. Кобылинского). Часто появлялся художник Рассинский, Липкин, если память не изменяет, Шестеркин, бывал покойный Борисов-Мусатов, одно время пианист Буткли, композитор Н. Метнер, Б. А. Фохт, Н. И. Астров, — появлялись такие, нашему тогдашнему кругу далекие «почтенные люди», как покойный композитор С. И. Танеев, проф. И. А. Каблуков, А. П. Павлов, ныне академик, не убоявшийся превращения профессорского дома в дом «декадентский». Бывали у нас и совершенно случайные, я бы сказал прохожие люди, вроде Н. А. Костяковского, тогда еще скромного адвоката [2]). За столом собиралось до двадцати — двадцати пяти человек: спорили, музыканили, читали стихи до поздней ночи; стоял веселый галдеж. Весь наш круг глубоко ценил поэзию Блока, которого мы считали своим «аргонавтом». После своего пребывания в Москве, где А. А. имел случай ознакомиться с аргонавтами, он прислал мне стихотворение с эпиграфом из моего «Арго» («Наш Арго, готовясь лететь, золотыми крылами забил»), бывшего своего рода гимном аргонавтов [3]). Вот это стихотворение:

---

[1]) Среды Астрова, кружок Крахта, кружок теософов, Христофорова, Орфей, Молодой Мусагет. Наконец часть аргонавтов вошла в московское антропософское общество.

[2]) Впоследствии украинский министр, снискавший далеко незавидную известность.

[3]) У аргонавтов была вырезана своя печать, которую Эллис в порыве «аргонавтизма» прикладывал ко всему, что попадалось под руку, — к рукописи, стихам, книгам, даже к книжным переплетам).

«Сторожим у входа в терем,
Верные рабы,
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.
Вечно — завтра. У решетки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.
Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд,
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.
Ангел розовый укажет,
Скажет: — вот она:
Бисер нижет, в нити вяжет —
Вечная весна.
В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь,
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь».

Это стихотворение пропитано тем же бодрым аргонавтическим воздухом вечного завтра, который господствовал в кружке аргонавтов в сезон девятьсот третьего—девятьсот четвертого годов. Идею братства «аргонавтического» коллектива изображают строки: «молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь».

Осенью и зимой 1903 года почти каждый день мне приходилось бывать где-нибудь: в воскресенья собирались у меня, в среды у Брюсова, если память не изменяет, во вторники днем у Бальмонта, — был «грифский» день, «скорпионовский» день. В то время книгоиздательство «Скорпион» выдвинуло ультиматум: сотрудники «Северных Цветов» должны были воздержаться от печатания в альманахе «Грифы». Я и Бальмонт отвергли это предложение и присоединились к «Грифам». Я пожаловался А. А. на это насилие Скорпиона. А. А. к нам, «грифцам», присоединился и прислал шуточное стихотворение, в котором изображены выведенные на свежую воду затеи Брюсова и «конспирация» З. Н. Гиппиус. Помню из этого стихотворения лишь слова: ...«опрокинут Зинаидин грозный щит»... и далее рифма: ...«разбит»... (разумеется Брюссов и Скорпион).

Если в нашем товарищеском коллективе было бодрое настроение, то, наоборот, мне было очень тяжело. Литературная ажитация и убыль внутренних тем — так характеризовал бы я то время. Затруднения и конфликты моего индивидуального сознания побуждали

особенно меня искать гармонии ритма в «братстве», в «коммуне мечтателей». В то время я чаще и чаще задумывался над проблемой общения людей, образования братских и сестринских коллективов, мечтал не то о пирах Платона, не то о мистерии, взыскуя о прекрасном обряде жизни. Поэтому я в то время лелеял мечту об организации своего рода ритуала наших бываний и встреч, о гармонизации самых наших касаний друг друга, вызывающих хаос и разорванность сознания. Проблема коммуны, мистерии и новой общественности пересеклась с мыслию об организации самого индивидуализма в своего рода интер-индивидуал. Я искал людей и общений не кружковых, а катакомбных, интимных. Помню, что часто бывал в то время в Донском монастыре у одного замечательного человека, — епископа на покое Антония. На почве этих исканий тогда подготовлялся один очень грустный эпизод моей жизни, где протянутость к мистерии человеческих отношений опрокинулась в самую обыденную прозу: зори девятьсот первого года, увы, угасли безвозвратно. Поэтому я с какой-то особою тягою обращался мыслию к А. А. Блоку, просто нуждаясь в общении с ним, как с самым близким, как почти с братом, с которым я еще не встречался. Я помнил, что он только что женился и мысль о том, как построена его личная жизнь, занимала меня: есть ли мистерия в его жизни, есть ли та гармония и ритм, о которых так много и подчас так не ритмично говорилось в начинавших мне уже надоедать юных модернистических кругах. Я получал в то время и письма, и стихи от А. А., стихи, то нежные, то тревожные, но общий их, доминирующий фон был мягкой грустью. Чувствовалось, что А. А. бодрится, но за этой форсированной бодростью чувствовалось недоумение. Ноты Прекрасной Дамы, угасая, вспыхнули еще раз там. Но ни в письмах, ни в стихах не было напряженности 1902 года и первой половины 1903 г. Письма А. А. ко мне были спокойнее, мягче, дружественнее и проще. Лично мне они были большим утешением. Что же касается до наших мистических чаяний, то они как-то отступили на второй план. Вот характерные ноты настроения стихотворений А. А. этого периода: «я на покой ушел от дня, и сон гоню, чтобы длить молчанье... днем никому не жаль меня, — мне ночью жаль мое страданье». Вот выдержка из письма того времени: «состояние молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне показалось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно, и поставили ваше состояние молчания для Вас на первый план, а я уже мирюсь с этим, потому что не вижу крайней необходимости тратить пять лошади-

ных сил на второстепенное. Вот и «я» все о себе, только мне кажется, это ничего... Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, кто я, что я. Разве вы не знаете: тоже и тоже опять милое, родное, вечное в прошедшем, настоящем и будущем... Я говорю о самом близком, окружающем меня. Один из петербургских поэтов пишет мне: «о вас ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи». Мадам Мережковская, кажется, решила это заранее. Что же это значит: мадам Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в ту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, и вот снова пишу стихи и милое «прежде» осталось милым... А тут сложилась «легенда». Но поймите, наконец, Вы, московские и не петербургские мистики, что мне жить во сто раз лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что стихи мои препоганые».

Еще с начала ноября 1903 года А. А. писал мне и С. М. Соловьеву, что он с женой собирается в Москву погостить. Должен был остановиться на Малой Спиридоновке, в доме В. Ф. Марконет, в пустой квартире, принадлежавшей, если не ошибаюсь, А. М. Марконет. Мы с нетерпением ожидали приезда А. А. в Москву, но этот приезд оттягивался: Блок с женой приехали лишь в первых числах января 1904 года. Помню, в то время только что вышли «Urbi et Orbi» Вал. Брюссова, которые были встречены нами как нечто чрезвычайное. Вот, что писал мне А. А. об «Urbi et Orbi»: «Urbi et Orbi» — это Бог знает что. Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, прозрений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем вы об этой книге, только просижу еще над ней. Могу похвастаться и поплясать по комнате, что не все еще прочел, не разглядел всех страниц. При чтении могут придти на ум мысли круглого идиота: как многое на свете делается, какие на небе звезды, какая бывает хорошая погода и прочее... Бальмонт тоже натворил чудеса, выпустив последние две книги, а вы — молчание... Вы будете печатать, а я в ответ вместо никуда негодных рецензий — мычать».

В «Urbi et Orbi» было два стихотворения. В них отчетливо сказалось отношение старшей линии модернизма, Бальмонта и Брюссова к нарождавшемуся течению символизма, к которому в Петербурге относился главным образом А. А. Блок, а в Москве выразителем идеологии этого течения был хаотический кружок аргонавтов. Одно

стихотворение посвящено мне. Оно кончается словами: «я много верил, я проклял многое и мстил неверным в свой час кинжалом». В смешном стихотворении «младшим» с эпиграфом «там жду я Прекрасной Дамы», поэт восклицает: «они Ее видят! Они Ее слышат!»... Далее описывается, как поэт прижимается к железным болтам храма, куда его не пускают, и созерцает светослужение — «железные болты сломать-бы, сорвать-бы, — но пальцы бессильны и голос мой тих». В этих строках выражено недоверие, подозрение и неумение понять, чем мы волнуемся и чего ожидаем. На это стихотворение А. А. Блок ответил Брюссову гимном, обращенным к своей музе:

«Тебе, чья тень давно трепещет
В закатно-розовой пыли!
Пред кем томится и скрежещет
Великий маг моей земли»... [1])

Брюссов здесь назван «великий маг» не только в риторическом смысле, но и в текстуальном: именно в эти годы Брюссов проявлял большой интерес к спиритизму, дурного тона окультизму (интерес больше к эксцессам черной магии, чем к подлинно духовной науке). Этот интерес отразился в его романе «Огненный Ангел». А. А. Блок знал про это заигрывание Брюссова со всякой мелкой бесовщиной; отсюда выражение — «скрежещет маг». Кроме того, вследствие нашего нежелания подчиниться требованию Скорпиона о неучастии в «Грифах», отношение В. Я. Брюссова ко мне и к А. А. было несколько «скрежещущим».

Среди лиц, сгруппированных вокруг «Грифов» особенно чутко и нежно относились к поэзии А. А.: писательница Нина Петровская и молодой, безвременно умерший писатель Пантюхов. Бальмонт, бывавший почти ежедневно в «Грифах» и очень друживший с грифскою молодежью, наоборот, весьма надменно и свысока смотрел на молодого поэта. Помнится мне, как все мы ожидали появления А. А. в Москве; особенно волновались приездом его, конечно, я и С. М. Итак наступил 1904 год.

---

[1]) В позднейшей редакции вместо «великий» поставлено «суровый».

II

А. А. БЛОК В МОСКВЕ.

Помню: в начале января 1904 года, за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, кто-то принес радостное для меня известие, что А. А. Блок с Любовь Дмитриевной приехали в Москву. Помнится: я это узнал до его посещения.

Очень скоро после этого раздался звонок, и когда я вошел в переднюю, то я увидел раздевавшегося молодого человека, очень статного, высокого, широкоплечего, с тонкой талией, в студенческом сюртуке. Это был А. А. Блок с Любовью Дмитриевной. Меня поразило в А. А. (это — первое впечатление): стиль корректности, «светскости» (в лучшем смысле), называемой хорошим тоном. Все было в А. А. хорошего тона, начиная от сюртука, ловко обтягивающего его талию, с высоким воротником, но не того неприятного зеленого оттенка, который был характерен для студентов белоподкладочников, как тогда называли особый тип студентов франтов. Кажется, в руках А. А. были белые перчатки, которые он неумело совал в карман пальто. Вид был вполне «визитный». Некоторая чопорность и светскость, более подчеркнутая, чем в А. А., мне бросилась в глаза в Л. Д. Вместе с тем оба они составляли прекрасную пару и очень подходили друг к другу: оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов. Второе, что меня поразило в А. А. — это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он имел в себе нечто от военного, а может быть, и от «доброго молодца». Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько контрастировали с застенчиво-улыбающимся лицом, чуть-чуть склоненном ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Лицо это показалось мне уже знакомым, где-то виданным[1]). Так первое впечатление от облика А. А. вызвало в душе вопрос: «где я видел его»? Казалось-бы, я должен ответить себе: «да, конечно, я его духовно видел в стихах, в нашей с ним переписке»... Но именно этого-то и не было: образ, возникающий из стихов, ассоциировался во мне с другим образом: я почему-то духовно видел А. А. не таким: маленького роста, с болезненным, бледно-белым, большим, тяжелым

[1]) Впоследствии я не раз говорил А. А., что в выражении его лица было что-то от Гауптмана. Это сходство с Гауптманом впоследствии не поражало меня.

лицом, с большим туловищем, небольшими тяжелыми ногами, в сюртуке, не гармонировавшим с его движениями, очень молчаливым и не улыбающимся, с плотно сжатыми губами и с пристальными небольшими синими глазами: и, разумеется, я видел А. А. с гладкими, будто прилизанными волосами, зачесанными назад. Не то, чтобы я думал, что он такой. Нет, — просто этот образ вставал, как невольная внешняя ассоциация, сопровождавшая все мысли мои о Блоке. А эта курчавая шапка, густых, чуть-чуть рыжеватого оттенка волос, этот большой интеллектуальный лоб, улыбающиеся так открыто и так приветливо губы, и глаза, глядящие с детской доверчивостью не вдаль, а в близь и несколько сконфуженно, рост, статность,—все не соответствовало «Блоку», жившему в воображении, «Блоку», с которым я обменялся уже рядом писем на интимнейшие темы, Блоку, приславшему мне такую воистину братскую записку после кончины Соловьевых. Признаюсь — впечатление внешнего облика, не соответствовавшего «фиктивному» облику, меня застало врасплох. Нечто, даже подобное разочарованию поймал я в своей душе, и оттого еще больше переконфузился и быстро принялся приветствовать гостя и его супругу, несколько суетясь, путаясь в движениях, заговаривая зубы собственному своему впечатлению, которое было тотчас же замечено А. А., — оттого он стал ласково любезным, но, как мне кажется, тоже внутренно смутился. Произошла какая-то заминка в первой нашей с ним встрече, в передней. И с этой заминкой мы прошли в гостиную, все втроем, где я, кажется, познакомил А. А. с моей матерью, которая очень любила его стихи и еще больше его письма ко мне; некоторые из них я ей показывал. Помнится, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то есть, смесь радости, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей его личности, вплоть до движения его рук, до движения кончиков его улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза покрасневшего и слегка обветренного лица. Это неуловимое настроение с неуловимой быстротой передалось и ему, отчего вся его статная, крупная фигура, с уверенными и несколько сдерживаемыми движениями приобрела какую-то мешковатость. Он как-то внутренно затоптался на месте и, в свою очередь, с выжидательно-любопытной улыбкой точно ждал от меня, я не знаю чего, слов ли, жестов ли, полной ли непринужденности, или разрешения моего взволнованного, несколько взвинченного настроения, вызванного нашей встречей. Помнится, мы сидели друг перед другом в старых, уже несколько потрепанных креслах в

нашей оливковой гостиной, цвет которой я описал в первой главе первого тома моей «Эпопеи» (кресла сохранились в нашей гостиной от времени моего младенчества). В этих же креслах лет за 14 перед тем, помню, сидел дед А. А., Андрей Николаевич Бекетов (бывший ректор Петербургского Университета), седой, благообразный, бодрый старик, с длинной бородой и падающими на плечи сединами, а я сидел на его коленях, и он гладил мою голову.

Помню я, этот морозный январьский день, и лучи солнца, падавшие в гостиную, и эту, солнцем освещенную, слегка склоненную на бок, голову и эти голубые, большие, не то недоумевающие, не то испытующие, но добрые, добрые глаза, и локти рук, упирающиеся в старое кресло и слегка дрожавшую правую руку, зажавшую папиросу, и голубоватые дымные струйки.

Я не помню слов, которыми мы обменялись. Помню лишь, что мы говорили об очень внешних вещах: о путешествии А. А. в Москву, о том, сколько А. А. думает здесь погостить, о Мережковском, Брюссове, Скорпионе и о том, что нам следовало бы о многом поговорить. Едвали мы не заговорили о погоде, но это вышло слишком «визитно» и мы все втроем — А. А., я и Л. Д. вдруг откровенно улыбнулись этому визитному тону и заговорили о том, как трудно отделаться от внешних слов и заговорить по настоящему. И, действительно, нам с А. А. было трудно сразу взять настоящий тон по отношению друг к другу. Вероятно, у А. А. был ряд мыслей обо мне, в связи с письмами к нему, стихами и «Симфонией». Мне кажется, что в одном стихотворении он переоценил мою бренную личность, посвятив мне строчку о том, что — «кому-то, на счетах позолоченных дано было сосчитать то, что никому не дано». Я в свою очередь готов был о нем написать подобные же строчки. Слишком много у нас наросло друг о друге душевных образов, не питавшихся фактом личного общения, чтобы сквозь строй дум о «неуловимом» эмпирично коснуться друг друга. Кроме того, с первых мигов встречи сказалась разность наших темпераментов, оттенок меланхоличного в нем и сангвинического во мне, и разные приемы выявлять себя во внешних отношениях. И мне, и А. А. приходилось много страдать в свое время от несоответствия общественной среды, в которой складывалась наша жизнь. Слишком долго и мне и ему приходилось таить свое интимнейшее, несказанное. А. А. был близок к своей матери именно в субстанции своих творческих тем, но далек и чужд своему отчиму, прекрасной и добрейшей личности, своим родственникам и той военной среде, которая окружала его отчима, бывшего

в то время полковником лейб-гвардии гренадерского полка. Я слишком долгое время развивался молча и, так сказать, украдкою. Отец и мать были чужды моим философско-религиозным устремлениям и лишь в семье Соловьевых, я, что называется, «распускался». У обоих у нас все то, что выявлялось в литературе, как стихи и чаяния, истекало из своего рода «подполья», в котором мы, заговорщики о будущем, перекликались стихами, как программами какой-то будущей совместной деятельности. Но из «подполья» оба мы не могли вылезти. На обоих наросла средой отложенная маска, как необходимый защитный щит (не от того ли так много масок фигурирует в поэзии А. А.? — «Неземные маски лиц...», «Снежные маски» и т. д.). Оттого, вероятно, в моей статье «Маска», написанной вскоре, упоминается, что появились люди-маски, то есть люди, вынужденные, выражаясь языком Ницше, жить среди умирающего поколения сократиков и приобретать себе личину «сократической» видимости, утаивая свою дионисскую суть, дабы не быть стертыми с лица земли крепкой и могучей злобой на нас со стороны стариков [1]).

И вот, в А. А. я почувствовал двойной жаргон в его отношениях к людям: его суть и притянутость к последнему в душе человека; вместе с тем: недоверие и скепсис, даже по отношению ко всему серединному, «предпоследнему», где конкретно переживаемое смешивается с абстрактно-полагаемым в зыбкой иллюзии «субъективизма» и «декаденщины»; щит против этой quasi-искусственности в нем несомненно отображался в стиле себя держать, в стиле, продиктованном ему не головой, а естественным «тактом», то есть, ритмом, оформленным в ему свойственные ритмические формы. Его поэзия того времени, развив свои ямбы, начала развивать свой великолепный анапест. Я, в то время лирически искал своих выражений в коротких, амфибрахических строчках и не мог написать ни одного порядочного ямба. «Такты» нашего положения выражались в диаметрально-противоположных стилях выявления. Я был необыкновенно суетлив и говорлив, много теоретизировал и таскал за волосы цитаты различных мыслителей, и развивал теорию за теорией, будучи вовсе не теоретичен, сравнительно тих в моем внутреннем облике. На А. А. разлился иной «защитный» стиль: стиль выдержанности,

---

[1]) Характерный факт: за несколько месяцев перед тем, меня провалил на государственном экзамене один приват-доцент, исключительно за то, что я декадент, а на похоронах отца, несколько профессоров, нарочно меня не узнали и не подали руки: за то же.

светскости и немного шутливого, добродушно-реального отношения к факту жизненной Майи, что вместе мы называем «хорошим тоном». Всякий, кто знал меня того времени, мог бы сказать: вот москвич, интеллигент, оптимист, идеалист, немножко Репетилов, побывавший в кружке Станкевича, теоретически символизирующий, подобно тому, как в кружке Станкевича гегельянизировали. Немного смешной, немного безтактный, не развивающий хорошего тона. Взглянувши на Блока, можно было сказать: вот петербуржец, вовсе не интеллигент, скорее «дворянин», реалист-скептик, где-то грустно вздохнувший, но на этот вздох натянувший свою улыбку, очень добрую и снисходительную, обласкивающую собеседника, чтобы от всей души окружить его уютом и скрыть от него точку своей тоски, и вместе с тем, детски доверчивый, но держащий собственную доверчивость под контролем некоторой строгости, в кружке Станкевича не бывший, но, вероятно, простаивавший когда-то часами на берегу Невы и знающий звук «Медного Всадника» и «Адмиралтейской иглы», не считающий нужным подыскивать теории символизма, потому что символическое восприятие действительности есть физиологический факт его бытия. Все это отразилось в его манере держаться: внимательность к собеседнику, наблюдательность, готовность ответить на какой угодно вопрос, прямо, решительно, без обиняков и «абстрактных» подходов, не выжидающего действительного подхода. Словом я выглядел интеллигентнее, нервнее, слабее, женственнее, демократичнее, рассеяннее, эгоистичнее, смешнее. А. А. выглядел интеллектуальнее, здоровее, сильнее, мужественнее, сосредоточеннее, аристократичнее, добрее; и не было в нем ни одной черты, которая бы со стороны могла показаться смешной. Вместе с тем, оба мы не соответствовали своим наружным видом стилю своей лирики. Глядя на А. А. того времени, никто не сказал бы, что он написал «Предчувствую Тебя...», скорее он мог написать рассказ в Тургеневском стиле (допустим — лучше Тургенева). Глядя на меня, можно было подумать, что я пишу какое-нибудь философское исследование, а если и пишу стихи, то, вероятно, рифмую в них «искал — идеал». Но под дворянско-светским тоном в А. А. таился максималист: быть может офицер Лермонтов или Пестель, или будущий Александр Добролюбов (иного типа). Под моими теоретическими абстракциями «максимум», быть может таился осторожно нащупывающий почву минималист. Я ко всему подходил окольным путем, нащупывая почву издалека, гипотезой, намеком, методологическим обоснованием, оставаясь в выжидательной нерешительности и ожидая мнения собеседника о цен-

тральной оси вопроса, чтобы потом уже приподнять забрало над своим внутренним мнением.

А. А. был немногословен, спокоен, не слишком подходил сам, не давал никаких авансов, как бы ожидая, как к нему сперва подойдут, чтобы вплотную, прямо, без обиняков ответить короткой фразой, без комментарий на что угодно и разрубить сумятицу стучащих мыслительных ассоциаций, определенным «да» или «нет».

Я подробно описываю разность и полнейшую противоположность (даже редкую противоположность) в том, что было в нас периферического: в темпераменте, в стиле, в тоне, в такте, что мы сразу же почувствовали, очутившись друг перед другом, что было причиною нескольких мучительных минут, когда мы сидели друг перед другом и не знали, что друг с другом делать, о чем говорить: о погоде не стоит, а о Прекрасной Даме невозможно. Из последующих, уже иных разговоров, этого его московского месяца выяснилось, что он был разочарован, увидев меня таким, каким я был. Я— тоже. Но скоро мы оба почувствовали, что кроме разности «тона», «стиля», «быта» и «темперамента», есть нечто, что и легло впоследствии, как основа его чисто братского, нежного, деликатного и любящего отношения ко мне. Не говорю о себе: я полюбил его в первые же дни нашего московского месяца, хотя был всегда, увы, в десять раз эгоистичнее его в наших взаимоотношениях. Он меня превосходил в чем то и от того то, впоследствии то братское, что нас связывало, отобразилось во мне тем, что я ощущал его «старшим братом»; младшим—был я всегда, хотя мы ровесники. Говорю это без самоуничижения: так, просто. Были и черты, в которых я превосходил его: я был внутренне терпеливее, выносливее, может быть скромнее и робче, не боялся распылиться. Он был мудрее, старше, смелее и внутренне капризнее, нетерпеливее, запальчивее (во внешнем опять наоборот).

Мы почувствовали скоро взаимную перекличку издалека. Мы, точно не видя друг друга, не глядя друг другу в лицо, отделенные забралами наших стилей и темпераментов, так не-созвучно,—перекидывались издали мячиками из слов. Мы сначала поверили друг в друга, вопреки оболочке, и эта вера перешла незаметно в доверие, перешла в привычку. Мы обтерпелись друг о друга. И тут скажу: я в него поверил, как в человека, раньше чем он в меня. Он долго еще осторожно присматривался ко мне, наконец поверил и действительно полюбил меня прочней и конкретней. Я был легкомысленнее его и не раз колебал прочные основания наших отношений

теоретическими вопросами, платформами, идеологиями и, наконец, своим эгоизмом. Не раз отношения наши подвергались серьезному испытанию. Можно сказать, они остались незыблемыми до последнего дня его жизни исключительно благодаря его прекрасной, благородной, в иных случаях, пылающей правдивостью душе. Еще штрих, его характеризующий: даю голову на отсечение, что еслибы покойного спросили о первой нашей встрече, он ее описал бы не так, как я: он охарактеризовал бы одним метким словом то внутреннее, что создалось между нами и не стал бы пускаться в психологическую характеристику всех душевных нюансов, сопровождавших ее. Нюансы бы забыл он, но запомнил бы текстуальные фразы, которыми мы обменялись. А я, вот, не могу привести ни одной его фразы из наших первых встреч (он и говорил меньше, да и я был глуше к произносимым им словам, прислушиваясь к бессловесному фону их), фотографические снимки со всех душевных движений между нами точнее устанавливает мне память.

Когда мы улыбнулись друг другу и отметили, что так трудно заговорить по настоящему, А. А. поставил и тут точку над і, подтвердив прямо, без обиняков—да, трудно. Я же, впадая в прекраснодушие, начал анализировать, почему именно трудно, начал характеризовать себя, свое косноязычие, неумение говорить, необходимость для меня «оттаять» от ледяного короста внешних пропыленных словечек, в которые сажает нас, как в тюрьму, «сократическая» обстановка жизни. Это было вполне неуместно, безтактно, «мишелисто» (то есть в стиле молодого гегелианизирующего человеческие отношения Мишеля Бакунина). И могло выглядеть смесью из не нужной риторики, субъективизма и психологизма, то есть именно со всем тем, чего так не любил Блок. Но, должно быть, в моем признании сказалась какая то боль; я почувствовал, как весь стиль наших будущих отношений определится этими первыми впечатлениями друг о друге. И тут я почувствовал, что А. А. через все вдруг мне поверил, увидел меня в моей «тишине», в «человеческом» и сказал «да» этому человеческому, хотя еще конкретно внутренно меня не полюбил.

Оговариваюсь,—может быть этот разговор и не был первым моим разговором с А. А., а вторым,—то есть, произошел на другой день, но во всяком случае он был первым началом нашего многолетнего разговора друг с другом, не прекращавшегося и молчанием. Во всяком случае память моя ассоциирует его с первой встречи.

Из этого посильного анализа моего впечатления об А. А. явствует, что А. А. мне чем то сразу заимпонировал. У меня было

более уважения к нему, чем у него ко мне, было ощущение какой то тихой силы и незаурядности, которая исходила от его молчаливого, приветливого облика, такого здорового и такого внешне прекрасного. А. А. был очень красив в ту пору, я бы сказал: лучезарен, но не озарен. Его строки: «Я озарен... я жду твоих шагов..» не соответствовали его лику: в нем не было ничего озаренного, «мистического», внешне «таинственного», романтического». Никакой «романтики» никогда я не видел в нем. О, до чего не соответствовал он сантиментальному представлению о рыцаре Прекрасной Дамы, рыцаре в стиле цветных витражей,—вот, что всего менее подходило к нему, никакого средневековья, никакого Данте,—больше Фауста. Но лучезарность была в нем: он излучал, если хотите, озарял разговор чем-то теплым и кровным, я-бы сказал, физиологическим. Он был весь—геология. Ничего метеорологического, воздушного, в нем не было. Слышалась влажная земля и нутряной, проплавляющий огонь откуда-то, из глубины. Воздуха не было. И вероятно, эта физиологичность, реалистичность, земность и отсутствие озаренной транспарантности, просвеченности и создавала то странное впечатление, которое вызывало вопрос: «чем-же светится этот человек, как он светится?» Какая-то радиактивная сила излучалась молчанием спокойной, большой и на бок склоненной головы, осведомляющейся о таких простых конкретных явлениях жизни, внимательно вглядывающейся и вдруг вскидывающейся наверх молодцевато, бодро и не без вызова. Эта прекрасная голова выпускала из открытых губ струю голубоватого дыма.

А. А. производил впечатление пруда, в котором утаивалась большая, редко на поверхность всплывающая рыба,—не было никакой ряби, мыслей, играющих, как рыбки, и пускающих легкие брызги парадоксов и искристых сопоставлений, никакого кипения—гладь—ни одной теории, ни одной игриво сверкающей мысли. Он не казался умным, рассудочным умом: от этого он многим «умственникам» мог показаться не примечательным. Но чувствовался большой конкретный ум в «такте», в тоне всех жестов, неторопливых, редких, но метких. Вдруг поверхность этого пруда поднималась тяжелым всплеском взвинченной глубины, взвинченной быстрым движением какой то большой рыбины: большой, месяцами, быть может, годами вынашиваемой мысли.

Это-то и создавало в нем тон превосходства при его внутренней скромности. Он мог, слушая собеседника, согласиться, не согласиться, быстро взять назад свои слова, или просто промолчать. Но эта легкость согласия или несогласия с чужим суждением происходила

от бессознательной самозащиты, от желания поскорее отделаться от легкомысленной плоскости взятия мысли легкомысленным «да» или «нет», которые и не «да» и не «нет» ибо подлинный ответ Блоковский—«да» или «нет», (большая глубинная рыба), еще вынашивался, еще не сложился. И наоборот, что Блок знал твердо, что у него было готово, выношено, проведено сквозь строй его существа,—это он или таил, или, если высказывал, то высказывал в повелительной, утвердительной форме (внешне—с особой мягкостью, с присоединением осторожного «а может быть», «пожалуй», «я думаю»). Если вы тут начнете его убеждать, то он упрется, но опять мягко с максимальной деликатностью,—«а я все-таки думаю», «нет, знаешь, пожалуй это не так». И с этого «знаешь», «пожалуй», «не так» не сдвинет его никакая сила. Все это я пережил при первом, весьма кратковременном, визитном свидании с А. А. Все это было лейт-мотивом наших будущих отношений и встреч. Я почувствовал инстинктивно важность, ответственность и серьезность этой встречи. Серьезность отдалась во мне, как своего рода тяжесть, как своего рода грусть, сходная с разочарованием. Так ощущаем мы особую, ни с чем не сравнимую грусть перед важными часами жизни, когда мы говорим—«Да будет воля Твоя»,—так слышим мы поступь судьбы, независимо от того, несется ли к нам радость или горе. «Блок», восемнадцатилетнее личное знакомство с ним есть важный час моей жизни, есть одна из важных вариаций тем моей судьбы, есть нечаянная большая радость и, как всякая большая радость, она не радость, а что-то, для чего у нас нет на языке слов, но что включает в себе много горечи.

Все это прозвучало мне издали в первую встречу и в первый миг в передней. Отсюда впечатление грусти и тяжести, отсюда отражение этой тяжести как разочарования: нет, тут не отделаешься, тут испытуется душа, тут или все, или ничего. Помнится, как ни интересовался я Л. Д., но в это первое наше свидание она промелькнула где-то вдали: А. А. занимал все мое внимание.

Светский «визит» продолжался не долго. Супруги Блок с тою же непроизвольной «визитностью» распростились. Мы решили встретиться в тот же день у С. М. Соловьева. Мне запомнились морозный солнечный январь, взволнованность, грусть. Не знаю почему захотелось поделиться впечатлением от встречи с Блоком с очень мне близким А. С. Петровским, поклонником его поэзии; я зашел к нему, мы с ним куда-то пошли; помню Никитский бульвар и мое неумение выразить смутное и значительное впечатление от встречи с А. А.,

смутное до того, что мне стало даже смешно. Я вдруг рассмеялся и развел руками: «да знаете—вот уж неожиданным оказался Блок». И в стиле наших тогдашних шалостей определять знакомых и даже незнакомых (прохожих например) первой попавшейся ассоциацией, совершенно далекой и парадоксальной, всегда каррикатурной, всегда гротеск—(таков был наш «стиль») я прибавил: «а знаете, на что похож Блок? Он похож на морковь». Что я этой нелепицей хотел сказать, не знаю. Может быть, продолговатое лицо А. А., показавшееся мне очень розовым, крепким и лучезарным, вызвало это шутливое сравнение: «на морковь, или... на Гауптмана». А. С. весело рассмеялся. Мы продолжали шутить и каламбурить. Так я нарочно расшутил то важное и ответственное, что я почувствовал в А. А. Помнится, с Никитского я прошел на Поварскую, в квартиру, где жил С. М. Соловьев (тогда гимназист 8 класса), и застал супругов Блок у него. Нам всем сразу полегчало—стало проще, теплее, сердечнее. От того-ли, что в квартире С. М. не было никого из «взрослых», т. е. людей другого поколения, и создавался веселый, непринужденный приятельский тон бесед, от того-ли, что С. М. был родственником Блоку, его знавшим давно и одновременно моим большим другом, от того-ли, что стиль наших интересов ориентирован был вокруг Влад. Соловьева, созданный нами троими так, что мы образовали естественно какой то треугольник с «оком», вспыхивающи между нами, с единственной, неповторимой темой Влад. Соловьева, с нашей темой о Ней, о Прекрасной Даме (Конкретной Теократии, в жаргоне С. М., «Жены Облеченной в Солнце»—в жаргоне моем). Да, вероятно, С. М., вызвавший к жизни наши отношения с А. А., был необходимым цементом, спаявшим наши внешние отношения друг с другом Кроме того, экспансивный, веселый темперамент С. М., всегда переходившего от серьезного тона к детской беззаботной шутке, под которой чувствовалось недетское молчание, облегчал нашу беседу Где стоят два человека друг перед другом, внутренне близкие и извне далекие, там всегда чувствуется стесненность, что-то сходное со стыдом. Где появляется третий, одновременно знающий и по внешнему этих обоих, там появляется нить общественности, братства, т. е. естественности, непринужденности, доверчивости. Мы боимся «замаскированных», но нам с ними весело, когда мы знаем, что под масками наши друзья.

Отсюда естественно, что в наших первых свиданиях с А. А. С. М. нас связывал и, будучи младшим, несколько доминировал, создавал тон и стиль наших бесед втроем, как бы деспотически правил

кораблем нашего общения. Он был рулевым корабля, на который мы сели и который, казалось, должен был нас вывести в новый свет, т. е. в Соловьевскую «Будущность Теократии», относительно которой у юного С. М. было настолько готовое и ясное представление в то время, что он мог вообразить себе будущее устройство России,— ряд общин, соответствовавших бывшим княжествам с внутренними советами, посвященных в Тайны Ее, которой земное отражение (или женский Папа) являлось бы центральной фигурой этого теократического устройства. Но для этого нужно было свергнуть самодержавие, т. е. революция была необходима, как переход к царству свободы, к Ней, к Заре. Перед революцией С. М. не останавливался, и в шутливой форме высказывал предположение о том, что, кто знает, может быть и нам предстоит сыграть в этом деле не маловажную роль [1]).

Помнится мне, что в эту вторую встречу у С. М. я разглядел пристальнее А. А.: он чувствовал себя проще, уютнее, и проступало в нем то лукаво-детское, несколько юмористическое выражение, с которым он делал свои краткие замечания и подавал реплики, отчеканивая слова резким, медленным, несколько металлическим голосом. Юмор А. А. был чисто английский: он выговаривал с совершенно серьезным лицом нечто, что вызывало шутливые ассоциации, и не улыбался, устремив свои большие бледно-голубые глаза перед собой. А между тем неуловимый жест его отношения к словам и тембр голоса подмывал на смех. Из нас троих—я шутить не умел. Мой стиль был стилем лирических излияний, но слушать шутки других было для меня наслаждением. С. М. Соловьев шутил по «соловьевски», то есть в стиле шутливых стихов Влад. Соловьева. Это был шарж, гротеск, невероятность, вызывающая пресловутое «ха-ха-ха»,—грохочущий хохот Влад. Соловьева. А. А. не был шутником, а тонким юмористом. Он сравнивал, не характеризовал, а отмечал черточки в человеке. Было что-то Диккенсовское в этих отметках. Так однажды впоследствии определил он в двух словах все наше сходство и разность: «а знаешь, Боря, ты мот, а я кутила». Этим он хотел сказать, что я легко истрачивался словами, исходил словами, проматывал в них свое душевное содержание. А он кутила—т. е. он способен был отдать самую свою жизнь неожиданно налетевшему моменту стихийности. Этим он отметил свой максимализм и мой минимализм. Не-

---

[1]) Но он это высказывал несколько позднее, в начале революционного движения, во время которого он ощутил себя внутренним эс-эром.

даром мама мне раз сказала: «А должно быть, А. А. большой шутник— когда он говорит, мне всегда хочется смеяться». Он говорил серьезно, жестом, движением папиросы, плечами, легко склоненной головой отмечая юмор. Помнится, поразило меня и чисто грамматическое построение его фраз: они были коротки, эпиграмматичны, тая темный смысл под слишком четким и ясным построением. Между прочим, поразило меня, что А. А. употреблял в речи «что бы» и там, где его можно было бы пропустить. Например все говорят — «иду купить а А. А. говорил: «иду чтобы купить себе»... А. А. в разговоре не очень двигался, он больше сидел в кресле, не развалясь, а сохраняя свою естественную статность и выправку, не двигая руками и ногами, изредка склоняя или откидывая свою кудрявую голову, медленно крутя папиросу, или отряхивая пепел, изредка меняя положение ног. (С. М. Соловьев и я—мы много жестикулировали). Иногда лишь, взволнованный разговором, он вставал, переминаясь как то по детски, или тихим, мерным шагом пройдясь по комнате чуть чуть с перевальцем, открывая на собеседника свои большие глаза, как голубые фонари, и, глядя на него с доверчивой детскостью, делал какое-нибудь дружеское признание, или открывал портсигар и молча предлагал папиросу. Все его движения были проникнуты врожденной вежливостью и уважением к собеседнику: если тот говорил перед ним стоя, то А. А. непроизвольно вставал с кресла и слушал его стоя же, наклонив голову на-бок, или уставившись глазами себе в носки, терпеливо ожидая, пока собеседник не догадается и не сядет. Этой вежливостью он естественно умерял порывы московских аргонавтов, очень пылких, подчас размахивающих руками и забывающих кстати и не кстати о пространстве и времени. Поэтому некоторым он мог показаться холодным, он, который весь был внутренний мятеж.

У С. М. Соловьева, при втором нашем свидании, и мне было уютно и весело с А. А. и Л. Д. Что-то простое и приятельское водворилось между нами: мы говорили о «Весах», первый номер которых должен был выйти со дня на день, об инциденте между Грифом и Скорпионом, о З. Н. Гиппиус, с которой я дружил в ту эпоху, к которой А. А. относился с сдержанной и благожелательной объективностью, т. е. двойственно, в конце концов сочувственно, но с чуть-чуть добродушной улыбкой, признавая ее необыкновенность, даже личную, (отнюдь не писательскую) гениальность. Л. Д. и С. М. относились к З. Н. Гиппиус—первая отрицательно, второй—резко отрицательно.

И у нас возник спор, где я был? На стороне А. А., или вернее, он был на моей стороне.

Л. Д. говорила мало: в нашей триаде, в узоре наших взаимных отношений она была гармонизирующим фоном. Она аккомпанировала понимающим молчанием нашим словам и подводила как бы итог всему тому, что происходило между нами. Она была как бы носительницей того целого, что объединяло дружбою нас троих в эти далекие, незабвенные годы. Когда кто-то из нас, в этом первом свидании в четвером, спросил ее о каком-то важном вопросе, она замахала руками и с шутливым добродушием рассмеялась: «я говорить не умею, я слушаю»... Но это слушание ее всегда было активным. В сущности, она держалась как «старшая», немного сестра, немного инспектриса, умеющая, где нужно, взять нас в ежовые рукавицы.

Впоследствии, А. А. написал стихотворение, в котором описываются друзья, возвращающиеся с прогулки, в котором строгая сестра каждому говорит: «будь весел». («Скажет каждому: «Будь весел»). Помню ее в красном домашнем капоте, сидящую у морозного окна, за которым розовели закатные снега: она действительно выглядела доброй и чуткой сестрой нашего дружеского молодого коллектива, как бы самой судьбой складывающейся духовной коммуны. Весь этот стиль наших взаимных отношений сразу определился в первый вечер у С. М. По моему, мы расстались просто и дружески. Впечатление «стесненности» между мной и А. А. рассеялось (оно возникало опять и опять, когда мы оставались вдвоем с А. А., до самого 1905 года).

Остановились Блоки в пустующей квартире Марконет, в доме В. Ф. Марконета, учителя истории Первой гимназии, свойственника С. М. Соловьева, милейшего староколенного человека, не понимающего «новых веяний», смеющегося над декадентами и иронизирующего над моей поэзией при личных прекрасных отношениях. А. А. Блока неожиданно он каким то нутряным чутьем понял вплоть до любви к его стихам. Я думаю, что пребывание А. А. в его доме (он часто навещал Блоков в их квартире) необыкновенно расположило его добрую душу к А. А. вплоть до приятия его поэзии. Помню, несколько лет спустя, он с восторгом вспоминал о времени, когда Блоки гостили в его доме, и всегда спрашивал: «что Блоки? Как? Ах, какая прекрасная, гармоническая пара!» Об А. А., помню, он рассказывал мне с необыкновенной теплотою: «а вот Саша Блок (он называл А. А. Сашей) — это поэт. Что?» — поднимал он на меня свои безбровые брови. («Что» прибавлял он почти к каждому слову). «Что? Поэт до мозга костей: стоит с ним провести несколько дней,

как сейчас же узнаешь — это вот, поэт. Что?... Бывало, выйдем мы на улицу, а он уж голову кверху поднимает и в один миг отметит, какое небо, какая заря, какие оттенки на тучах, какие тени — весенние ли, или зимние... Что?.. Все, все заметит: ни одна мелочь на улице не ускользнет: все запомнит... Не надо его и читать... Сразу видно, что действительный, настоящий поэт... Что?... Только поэты могут так понимать природу... Что?» Пребывание А. А. в Марконетовском доме видимо оставило неизгладимый след в чуткой душе В. Ф. Всякая встреча наша с ним на протяжении десяти лет (очень часто на улице) начиналась одними и теми же стереотипными фразами: «а, как вы? Что Сережа? Какую дикость написал Брюссов... Ну — как Блоки?», — и лицо его все прояснялось, и начинался разговор о том, какая они пара и какой «Саша» поэт: «Что?» И мы прощались до следующей встречи, до, слово в слово, повторявшегося диалога.

А. А. того времени внушал какую то особую нежность людям старого поколения. В то время как «отцы» скептически пожимали плечами при имени А. А., — почтенные древние старушки из стародворянских семейств, сохранившие остаток энциклопедического воспитания, чуть ли не с первых десятилетий истекшего года, (это поколение уже вымерло), часто с особою нежностью относились к А. А. Может быть они воспринимали его сквозь призму для них еще близкого Жуковского, связанного с их молодостью. Так, например, к А. А. относилась покойная С. Г. Карелина, дочь известного русского путешественника, общего прадеда С. М. Соловьева и А. А. со стороны их матерей. «Видела Блоков... Была у них в Шахматове... Ах, какая пара!.. Что им делается! Здоровы, молоды: цветут... Саша написал прекрасные стихи» — бывало, рассказывает она, приезжая из Шахматова в Дедово, где мы с С. М. Соловьевым проживали вместе лето 1905 — 1906 годов.

Помнится, в 1905 году я встретился с почтенным, образованным старообрядцем, миллионером и собирателем икон, который объявил мне, что в России есть единственный гениальный поэт — Александр Блок [1]). Его пленяла особая религиозная атмосфера его стихов того периода.

---

[1]) Тогда вышла лишь книга его „Стихов о Прекрасной Даме". При ближайшем разговоре выяснилось, что старообрядец ценил поэзию Блока с сектантски-религиозной точки зрения (он был одним из двигателей какого то крупного старо-обрядческого толка).

А. А., отойдя от этого своего периода очень далеко, не далее как во второй половине 1920-го года, сделал одному дружественному к нему лицу необыкновенно важное признание: он признался, что Стихи о Прекрасной Даме не принадлежат лично ему, что он считает многое в этих стихах открывшемся ему непосредственно и что он лишь проводник какой то духовной интуиции, потом ему закрытой, что он не понимает, как многие могут понимать его стихи, что истинное ядро их не может быть понятно. (Думаю, вряд ли оно было до конца понятно и А. А., как и нам, его комментаторам)... Признание это характерно для А. А. эпохи «Двенадцати». Оно бросает совсем иной рельеф на его душевный мир последнего времени. Признание это лишь подчеркивает физиологичность для него факта зорь. Это-то и делало А. А., с самого начала его поэтической деятельности поэтом, не вмещающимся в партии того времени, и группировавшим вокруг его музы избранный кружок самых разнообразных людей (мы, молодежь, декаденты, сектантка А. Н. Шмидт, почтенный старообрядец староколенный домовладелец и вечный член дворянского клуба В. Ф. Марконет, старушка С. Г. Карелина и др.). Это — необыкновенность его стихотворений, особая острота ни у кого не бывших переживаний, подымающая как бы волну озаренного розово-золотого, душевно-духовного воздуха. Этим воздухом он и был пропитан, когда мы встречались с ним в 1904 — 1905 годах. Это был кусочек того особого мира, как бы солнечный загар (а не внешняя лишь озаренность), который ложился опять таки как бы физиологически на него и на темы, связанные с его поэзией, — темы уже погасающие, Видение, уже отходящее; но Видение, бывшее ему, — он носил в себе, в своем сердце: и это сердце еще посылало порою ему эти не ему принадлежащие лучи. Отсюда «загар», т. е. не то духовная опаленность, не то лучезарность, о которой я говорил выше. Но он сознательно не присутствовал при этом, он, вероятно, лишь констатировал, что его темы, строчки, его личное присутствие вызывает в людях какие то неведомые волны, осознаваемые различно. Одни ощущали А. А. особенно связанным с темою лирики, другие ощущали его «рыцарем», иные каким то самопосвященным мистиком, третьи испытывали просто чувство необыкновенной симпатии к нему, этому Фаусту, Парсифалю, Мужу-ребенку, скептику-Сведенборгу, Апполону-Дионису. В одних поднимались дионистские волны, другие слышали воздух радений и хлыстовства вокруг его тем, третьи ощущали волну розово-золотой атмосферы, действенного соловьевства, о которой я говорил выше. Наконец, были и такие, которые считали его спе-

циально опасным и мистически подозрительным с ортодоксально-христианской точки зрения. Все это было в высшей степени чуждо декадентским кружкам «Скорпиона» и «Грифа», которые брали его лишь как поэта, т. е. мастера слагать строчки, и не понимали иного, более глубокого отношения к антропософской проблеме, которой он был бессознательным носителем в то время. Отсюда родилась легенда о средневековой стилизации, отсюда же балаганное восприятие темы «Прекрасной Дамы» со стороны тех, кто давал А. А. приют как поэту в их «новых» литературных органах [1]).

Нов был А. А. Блок, начиная с поэзии и кончая личностью. Кто близко не встречался с ним до 1905 года, тот не имеет представления о Блоке по существу. Блок 1905—1907 годов большой, большой человек. Блок 1908—12 годов опять таки большой Блок Блок последнего периода опять таки новый. Но Блок 1904 года — Блок незабвенный, неповторяемый, правда, присутствующий всегда в других «Блоках», но как бы выглядывающий из-за них, как из-за складок тяжелой, прекрасной, то зелено-фиолетовой, то серо-пурпурной, то желто-черной мантии бархата (желтые закаты III-его тома). Мне удалось застать Блока еще не в этих тонах, а в налете, подобном загару, розово-золотого воздуха, сохранившегося на нем, как живое воспоминание духовных событий 1900—1901 г.г. (пожалуй и 1902 г.). И этот Блок — неповторимый, единственный. Я помню несколько наших бесед втроем в присутствии нам молча аккомпанирующей Л. Д., бесед, переходивших в язык полутеней, полусловъ, поднимавших присутствовавшее между нами молчание. Помню розово-золотой воздух, как атмосферу, фимиам тишины, поднимающийся между нами троими: будто вспыхивало «Око» треугольника и выражаясь словами Влад. Соловьева «Поднималась молча

«Тайна роковая» — т. е. тайна нашего, нас бессловесно связующего, физиологического почти знания, что Она, эпоха Третьего Завета, идет, и что камня на камне не останется от внутренне себя изжившей старой культуры «сократиков». Серьезное и глубокое, непрочитанное нами и по сию пору, смешивалось как то непроизвольно с нашей молодостью, во многом ребячливостью

---

[1]) Уже старых, т. е. не соответствующих духу эпохи. „Весы", „Мир Искусства" и „Новый Путь" были бы подлинно революционными новыми журналами, если бы время их появления на свет было не 1899—1903 и 1904 годы, а примерно 1882—1885 г.г., когда Врубель уже создавал эпоху подлинно новую демонической философией своего стиля и красок.

(нам с А. А. было по 23 года, но душой мы были старше и моложе наших лет; Л. Д. был 21 год, а С. М. Соловьев был еще 18-ти летний юноша). И понятно: мы были мечтателями «по глупому». Казалось: проблема мистерии и гармонизации человеческих отношений уже подошла и вот-вот прямо в руки дается, что голубиные крылья спускаются, и вот Голубь Жизни Глубинной сам сядет к нам в руки. С. М. Соловьеву мечтались громовые горизонты последней блистательной эры и роль России в ней, — даже более того — наша роль в ней. (Писал же Мережковский незадолго перед этим: «Или мы, или никто»). Мне мечталась тихая праведная жизнь нас всех вместе, чуть ли не где то в лесах, или на берегу Светлояра, ожидающих восстания Китежа (или Грааля). И однажды, в квартире Марконет, у меня сорвалась подобная фраза — «ах, как бы хорошо там зажить нам вместе». И казалось, что нет в этом ничего невозможного, — да и не было ничего невозможного: ведь ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л. Д. Семенов через два с лишком года после этого, ушел сам Лев Толстой, пришел оттуда, из молитвенных чащ и молелен севера, к нам сюда Николай Клюев, наконец я сам уходил (не на Восток, правда, а на Запад) уже в 1912 году, ища не старцев, не Китежа, а, может быть, рыцаря Грааля... Неудивительно, что на заре «символизма», на заре нашей культурной жизни, нам казалось, что уйти всем вместе из старого мира и легко и просто, по тому что Новый Мир идет навстречу к нам. Помнится, как в поздний час синей лунной январской ночи, ясные лучи озаряли затемненные комнаты старой квартиры Марконет, и лежали лунные косяки на полу. Л. Д. сидела у окна и ласково молчала в ответ на наши утопии. Молчал и А. А. Блок, но с невыразимой, мягкой, ему одному свойственной в те минуты, нежностью, одновременно строгий и снисходительный, с доверчиво выжидательным видом, весь слух и зрение, направленные на понимание ритма наших разговоров: и целое, атмосфера, розово-золотой воздух, — веял, веял-же, реально, конкретно, не с горизонта, а из наших душ, от сердца к сердцу!

Естественно, что речи, сидение вместе и тихое молчание о Главном за чайным столом, — все это носило характер особого непроизвольного эзотеризма, не могущего быть понятым «непосвященными». У нас был свой жаргон, свои слова, стиль говорить о виденном, о подслушанном вместе. Нет, в эти минуты мы не были «мистиками» из «Балаганчика». Я по крайней мере до сего времени не считаю себя «мистиком» в то время, а бессознательным антропософом, т. е. тем, кто не в «мистике» чувств, а в «духовном знании»

ищет соединения головы и сердца. Думаю, что «мистиком» не был С. М. Соловьев, ни А. А. Блок, когда писал:

«Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь».

Но «мистики» были в Москве. Они водились и среди «аргонавтов» и о них я писал уже в 1906 году в «Весах». «Мистиков» было особенно много в эпоху «мистического анархизма», который одно время так возненавидели мы с С. М. Соловьевым (в 1907—1908 г.).

Сами же мы набрасывали покров шуток над нашей заветной зарей, как «Апполонов ковер» над бездной, как покрывало на лик Новой Богини, Культуры, и начинали подчас дурачиться и шутить о том, какими мы казались бы «непосвященным» людям, и какие софизмы и парадоксы вытекли бы, если бы утрировать в преувеличенных схемах то, что не облекаемо словом, т. е. мы видели «Арлекинаду» самих себя. И С. М. с бесконечным остроумием разыгрывал пародию на нас же самих в утрированном виде. Он то устраивал мистерии в стиле «Ночной Тишины» Кузьмы Пруткова, то называл нас сектой «блоковцев», то выдумывал историка религиозной культуры из XXII века, француза Lapan на основании стихов Блока, деятельности А. Н. Шмидт, сочинений Влад. Соловьева, решавшего вопрос, существовала ли секта «блоковцев» и умаривал нас со смеху, изображая филологический спор ученых будущего, о том, была ли «София» идеологии В. С. Соловьева ничем иным, как С. П., с которой покойный философ дружил, или наоборот С. П.-де криптограмма вроде христианской рыбы, — прочитываем С. П. Х. — «София Премудрость Христова». Но тут появлялся другой комментатор, доказывавший, что С. П. прочитывали «София Петровна» в аллегорическом смысле, как София, Церковь III Завета, возникшая на Петре, Камне, или исторической церкви, и т. п. В этих шутках пародировалась теория солнечного мифа. Доставалось всем: А. А., мне, С. М. Соловьеву и даже Л. Д., ибо в противоположность солярной теории истолкования соловьевства французом Lapan из XXII столетия, возникала геологическая теория истолкования «блокизма» каким нибудь «Pampan», который имя супруги поэта Л. Д. тоже истолковывал терминами ранней мифологии: «Любовь», как конкретное отображение земной Софии и потому «Димитриевна», т. е. испорченное «Деметровна» (Дочь Деметры). Л. Д. весело отмахивалась от этих гротесков. А. А. с веселым удовольствием выслушивал шутки — не любо, и не слушай, а врать не мешай. Это были после-обеденные часы в «Шахматове», где мы одно время все вместе проводили время.

Но и в 1904 году, в Москве, С. М. Соловьев каламбурил, хот он переживал максимум своего увлечения левым соловьевством и действительно пытался строить догматы этого нового, скорее не учения, а религии, врезаясь неудержимой стремительностью в гущу неразрешимейших религиозно-философских проблем, которые не грезились ни «Новому Пути», ни А. Н. Шмидт (А. Н. Шмидт — автор «Третьего завета» и «Исповеди») и несколько смущал этим Блока. Между тем, он переживал максимум доверия к А. А. не как к другу, брату и родственнику, но как к тому, кто волею судеб призван быть герольдом, оповещающим шествие в мир нашей религиозной революции (третьей, духовной, а не только политической или социальной).

В ту пору помню его с развевающимися волосами, в коротком сюртуке, с болтающимся белым галстухом, осыпающим меня градом своих стремительных наблюдений и мыслей. Между прочим, он меня увлек своим тогдашним настроением, и заставил нас вместе сняться за столом, перед поставленным портретом В. Соловьева, подле которого лежала библия.

Если бы «староколенные люди», нас окружающие, подозревали о той горячке, которая нас охватывала порой, то они сказали бы: «сумасшедшие, видите — мы говорили!» Но если бы декадентские и модернистические круги подглядели нас в наших чаяниях, они сказали бы тоже, что и сократики: «сумасшедшие». А наиболее левые из них написали бы, конечно, статью о необходимости создания театра новых исканий, — о театре-храме, что фатально случилось через два года. Помню мое негодование на «символический» театр того времени.

По моему, наши переживания этого года были прекрасны, чисты, глубоки. То слишком юное и немного смешное, что им сопутствовало — есть мешковатость отроков, которым выпала задача расти в мужество; и Гете с ломающимся голосом вероятно был смешнее Гете-ребенка, но неужели же мы променяем Гете-бебе на автора Фауста и «Световой Теории?» А «Световая Теория» наших зорь — все еще впереди, нами неразрешенная, но не угасшая, а лишь временно затуманенная дымом переходного времени. Она возникла, если не в детях, то в сознании внуков и признание А. А. Блока в 1920 г., по поводу стихов «О Прекрасной Даме» — мужественно подтверждает это.

А. А. тихий, светский и сдержанно ласковый, возбуждал целые вихри сочувствий в дионистической среде молодых аргонавтов. И кроме того: возбуждал чисто литературный интерес и любопытство

в эстетических кругах Москвы в то свое появление. Одна дама (бальмонтистка) мне о нем говорила: «Блок, он такой нежный, лепестковый, что-то в нем есть от розовых лепестков». Другие, менее «изысканные», говорили проще и лучше — «Александр Александрович, — он хороший, хороший... В. А. А., обращенном к литераторам и поэтам в более узком, техническом смысле, было много светского достоинства: он держался любезно, непринужденно, но гордо и независимо. С свободным достоинством, с высоко поднятою головой, стоял он перед теми, которые, считая себя принцами Гамлетами поэзии, ждали, может быть жаждали, в нем увидеть по отношению к себе хотя бы один придворный жест «Гильденштерна и Розенкранца». К сожалению новое направление в искусстве не было свободно от старых привычек: лести и поклонения, увы, не невыгодной для карьеры многих. Новые литературные «боги» порою сбивались «с божественного» лада на лад «губернаторский» (в «боге» вспыхивал «метр», или губернатор литературной провинции). А. А. задал свой собственный независимый тон, который был «дипломатически» усвоен и принят там, где он не усваивался по отношению к «Розенкранцам и Гильденштернам». А. А. сам в этих кругах выглядел, если не Гамлетом, то Фаустом. И уехал из Москвы, окруженный ореолом любви и всеобщего уважения.

С теми же, кто был с ним прост, он был непосредственно прост.

Я останавливаюсь на некоторых чертах литературной жизни Москвы потому, что в московской декадентской среде, независимо от индивидуально-высоко культурных людей, социальная среда складывалась по линии интересов крупного купечества к новой литературе. Миллионер неизбежно входил, входил сам, в литературный салон, входил осторожно, с конфузом, а выходил... уверенно и без всякого конфуза. И создавался подчас неприятный, случайный привкус во многих подлинных устремлениях и вкусах. (Этой специфичности в Петербурге я не наблюдал).

Вскоре же по своем приезде в Москву, А. А. был у меня на воскресеньи, где большинство аргонавтов собрались его встретить. Из лиц, присутствовавших у меня в тот вечер, были: Л. Л. и С. Л. Кобылинские, М. А. Эртель, К. Д. Бальмонт, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров с сестрами, теософ П. Н. Батюшков, А. С. Челищев (музыкант), С. А. Соколов, Нина Петровская, покойный Поярков, всегда случайный И. А. Костяковский с женой, тоже случайный И. А. Каблуков, А. С. Петровский, А. В. Часовникова (урожденная Танеева), К. П. Христофоров, Н. А. Сильверсван, несколько поэтов из «Грифа»

и «Скорпиона», кто — не помню. Кажется не было Брюссова, с которым в то время тянулись у нас нелады, вследствие нашего отхождения в сторону «Грифа», а может быть, Брюссов был — не знаю точно. Преобладали «аргонавты», которые окружили А. А. манифестационным пылом и желанием усадить А. А. поскорее на «Арго», чтобы плыть на поиски «золотого руна». Было, помнится, хаотично, нестройно, оттого ли, что именно в это воскресенье появились у нас несколько случайных людей, и случайно не было нескольких неслучайных, или мне, которому хотелось бы больше ритма и интимности, было так тесно в этом шуме и гуле, что порой начинало казаться: «Все кричали у круглых столов, беспокойно меняя место...»

С А. А. я мало был в тот вечер, потому что он был занят разговорами и ознакомлением с новыми для него московскими поклонниками. Помнится, мы зачитали стихи: Бальмонт, он, я, и еще кто-то. Бальмонт, с непобедимым видом, вынул свою книжечку (он всегда ходил с записною книжкой, куда набрасывал новые стихи), и стал выбрасывать свои строчки, как перчатки. После читал А. А. Блок: меня поразила манера его чтения и, даже, сперва не понравилась: мне показалось, что он читает немузыкально, роняя певучую музыку собственного анапеста, — все тем же трезвым и деловым тоном, с каким он произносил свои внешне, слишком грамматично построенные фразы («Я пришел, чтобы купить», вместо — я пришел купить). Читал А. А. несколько в нос, медленно, просто, громко, но придушенным голосом, иногда глотая окончания рифм. Думаю, что характер некоторых из его рифм, например — «границ-царицу», обусловлен тем, что в их произношении А. А. не отчетливо слышалась разница между «ц» и «цу», «ый» и «ы» и разница в окончании слов «обманом» и «туманные» сошла бы за рифму в произношении А. А. В чтении А. А. не чувствовалось повышения и понижения голоса, не чувствовалось разницы пауз: точно кто-то, медленно, глухо, весь закованный в латы, начинал тяжело ступать по полу. Лицо его делалось при чтении соответствующим голосу: оно окаменевало и становилось строже, худее, очерченное тенями. Лишь потом, я оценил своеобразную прелесть этого чтения, где ритм стиха, окованный метром голоса, получает особую, сдержанную, апполиническую упругость. Бальмонт, читая стихи, как бы приговаривает при этом: «Вот же вам, вот же вам, — берите, ругайте или боготворите, — мне все равно, разумеется вы боготворите, но я к этому привык». Брюссов чтением как бы подает каждую строчку на стол, как отлично сервированное жестом интонации блюдо. Читал в те годы он клокочущим

голосом хрипло-гортанным, переходящим в странное воркование с выговором, не различающим «т» от «к» (например — матема т и т и, вместо — математики). Я в те годы непроизвольно пел свои стихи, сбиваясь на цыганский романс, с длительными паузами, повышениями и понижениями голоса. А. А. шел по строчкам поступью командора, как бы приговаривая: «да, да, да... все это есть, есть, есть... что написано, то написано, а я не знаю, что это». Помню, как удивило меня его чтение. К концу вечера мы разбились: часть гостей, посолиднее, осталась в столовой, где К. Д. Бальмонт читал еще ряд своих стихотворений, а мы, молодежь, ушли в мой кабинет, где выражали свою любовь и восхищение перед стихами А. А. Это восхищение было неподдельное. Некоторые из собравшихся, два года уже знали и ценили его поэзию в ее до-историческую эпоху.

Помнится, А. А. в этот вечер ближе сошелся с А. С. Петровским, В. В. Владимировым и Эллисом, к которому скоро он стал относиться двойственно, с некоторой опаской, инстинктивно чувствуя в нем совершенно иной стиль и такое же отношение к себе, что впоследствии и обнаружилось. С К. Д. Бальмонтом, насколько помню, у А. А. ничего не вышло: они прошли мимо друг друга в ту пору, К. Д. Бальмонт с ему свойственным надменством испанского гранда, А. А. с холодной независимостью. Кажется, А. А. не понравился Бальмонту в этот вечер.

В эти числа мы все собрались в годовщину смерти супругов Соловьевых в Ново-Девичьем монастыре и отстояли обедню в розовом монастырском соборе[1]). Пел хор молодых монахинь. Я невольно вспоминал и свои чаяния девятьсот первого года и те настроения от монастыря, которые отразились в моей «Симфонии», и Влад. Соловьева, могилу которого мы посетили в этот день, и «Предчувствую Тебя...» то, что для А. А. было шахматовскими зорями, для меня было зарей за монастырем. И вот, быть с А. А. в «моем» месте было для меня высшей радостью: мы встречались тут в «моем», как в скором времени встретились в «мире зорь» А. А., в Шахматове. Эти минуты в монастыре с А. А. запомнились мне (как посвящение мной А. А. в мое заревое прошлое. Был, если память мне не изменяет, мягкий, матовый январский денек. Снежило. После мы с А. А. Л. Д. и Эллисом почему то попали на квартиру В. С. Поповой (урожд.

---

[1]) Впоследствии этот собор неудачно перекрасили в белый цвет, но для меня он остается тем же, розовым. Золотые закаты мая девятьсот первого года и розовый этот собор сливаются в моем представлении в розово-золотую атмосферу наших чаяний.

Соловьевой), и пили вино. Разговор перешел от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Эллис, исступленный и бледный, с лицом, налезающим на А. А., с кровавыми губами и нестерпимо блестящими зеленоватыми глазками, одной рукой схватывал его за сюртук, а другой размахивал и крутил свои усики и бородку, обдавая А. А. потоком своих мыслей об «Арго», о Брюссове, Бодлере и, кажется, Данте.

Сухость и страстность, неутоленный блеск мыслей и вместе с тем фанатическая стремительность всех Эллисовских парадоксов, всегда красивых, но каких то средневековых... Эллис желал спаять Данте, Бодлера, Саванароллу. Весь он двоился в двух линиях культуры: католичество, чуть ли не иезуитизм — одна линия его тогдашней мысли, кошмары в духе Брегеля, Боша, переплетаемые с химерами Notre-Dame, Эдгара По и Бодлера — другая его линия. В пересечении, в схватке этих, одинаково А. А. чуждых, линий был весь Эллис. Его символизм начинался отсюда, а Золотое Руно было лишь далекой утопией, для которой и был построен Эллисом Арго. Все это выступало особенно неуместно, настойчиво в разговоре с А. А. и хотя все это было прикрыто пафосом и форсированным боевым оптимизмом, но все это было А. А. одинаково чуждо: и взвинченная манифестация символа и скрытая под ним бескровная черствость, схоластика католического монаха (Эллис принял впоследствии монашество), и чувственность казней и пыток, которыми угрожал Эллис того времени врагам «аргонавтического движения», т. е. главным образом Брюссову, которого верным Ричардом он стал через три года. Мне запомнились в этой квартире у В. С. Поповой почему то А. А. и Эллис: лихорадочно-холодный Эллис с своими красными губами и зеленовато мертвенным лицом, и жизненный, медленный, корректный А. А. с загаром лучезарности, — так они не походили друг на друга. И А. А. сидел измученный разговорами, слегка позеленевший, с синевой под глазами, с вытянутым от выступивших на лице теней, носом. Эллис же — обычно рассеянный, чуть не обрызгивал А. А. слюной, не замечая, что так заставляет страдать его и вдвойне меня: за А. А. и за Эллиса, которого я знал близко и очень любил, вопреки его выявлениям, в единственной, ослепительной, математической почти точке души, которая выявлялась в нем лишь бешеной верностью тому, чему он в настоящую минуту поклонялся. Я останавливаюсь на Эллисе и А. А. потому, что это была встреча подлинно замечательных людей. А. А. был замечателен и во внешнем, Эллис же, плохой поэт, посредственный публицист, главным образом

агитатор течения; но под этой несносной, Эллиса роняющей, назойливой агитационной личиной таилась душа глубочайшей загадочности и оригинальности: оригинален хотя бы тот путь, который он нарисовал с 1898 до 1916 года, когда в последний раз вести о нем дошли до меня: от ученого марксизма, через бодлеризм, к символизму, и от последнего, через антропософию, к католицизму самого иезуитского пошиба. Будучи марксистом, еще в девятьсотом году пишущий диссертацию о Канкрине, символист в девятьсот четвертом году, поклонник Бодлера и Данте, «брюссианец» в девять сот седьмом году, штейнерианец в одинадцатом и двенадцатом годах, и наконец почитатель Игнатия Лойолы, обстреливающий меня письмами в четырнадцатом году, где св. к. (святой костер инквизиции) склонялся во всех падежах. Все в нем А. А. наносило боль, и он всегда необыкновенно уставал от Эллиса. Эту боль в А. А. я ощущал неоднократно, и это и было в нем выражением нетерпимости от сознания дисгармонии, разрыва и фальши при столкновении душ, разнотонно настроенных. А. А. не выносил аритмии душевных движений. При первых звуках фальши он съеживался как мимоза, и у него всегда появлялось то выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на дрожащих губах, которое являлось от усилия себя перемочь. Если нескладица росла, он уже не улыбался, а быстро тускнел, темнел, окаменевал: с него слетал тот загар лучезарности, которым он действовал так на нас; он дурнел и сидел весь в тенях, с обостренным носом и плотно сжатыми сухими губами (дефект сомовского портрета — неверно понятые губы), злой, молчаливый и странный. Тут я был терпеливее его, потому что я тоже очень страдал от каждой фальшивой ноты, и подчас днями, неделями, месяцами ходил точно с ободранной кожей, воспринимая окружающую меня действительность кончиками обнаженных нервов. Но я терпеливо перемогал нестроицы, именно бросаясь в нестроицу, стараясь в ней что-то изменить ценой утраты собственного ритма. Словом: он сжимался от нетерпения, я — разрывался от излишнего и часто ненужного терпения. Порой я взрывался, и тогда всегда выходили инциденты, довольно неожиданные для тех, кто не знал моей психологии (страданий от всяких «не то», «не так»). А. А. в ту пору определенно страдать не хотел, а я ставил себе уж проблему страдания и жертвы: через символ распятого Диониса я вплотную приближался к биографии Ницше. А. А. Ницше был далек — тут мы были в разном. Я был ближе к Эллису, понимая его проблему противоречия, как путь ко Кресту; в проблемах христианского сознания

я был более логосичен, А. А. был более космичен и софиански настроен. Историческая проблема христианства была мне ближе; он и к истории подходил сквозь призму Третьего Завета новой революционной эпохи (его максимализм и мой минимализм). Оттого-то я всеми проблемами был более вдвинут в линию интересов религиозно-философского общества (петербургского и назревающего московского), дружил с Рачинским и Мережковскими, представителями ортодоксального христианства и неохристианства, для А. А. все это было уже прошлое. Помнится: мы с А. С. Петровским возили А. А. и Л. Д. к епископу на покое, Антонию, проживающему в Донском монастыре [1]).

Помнится, свидание А. А. с епископом Антонием вышло столь тусклым, что я ничего не запомнил — ни одного слова Антония, ни одного слова А. А., оба были весьма не в своих тарелках, весьма не в подлинном виде. Епископ Антоний не обратил на А. А. никакого особого внимания. А. А. сидел молчаливый, опять несколько страдающий, и вышло, что мы с А. С. его затащили насильно. Вообще у нас было посягательство на А. А., — мы его возили и показывали, а одновременно показывали ему то, что нас занимало в то время, но что, может быть, ему было чуждо. И тогда слышалась в нем эта боль сквозь доброту заранее принятого намерения позволить собой распоряжаться, молча оставаясь при своем мнении. Это «свое мнение» в вопросах, нас близко связующих, стало впервые мною переживаться со всей ясностью в Шахматове еще летом девятьсот четвертого года, вызывая между мною и им минуты неловкости, так что не всегда мы чувствовали желание остаться с глазу на глаз, предпочитая интимно дружеское общение en trois или en quatre. Но меня в моей боли, отдающегося на растерзание тому, что определенно расстраивало— он понял до дна и нотою невыразимой нежности, активной и действующей, ответил он мне. Он умел меня попросту обласкать словами, всею манерой со мной держаться, успокоить и отходить от во мне назревающих вспышек и запальчивых взрывов. Тут он стал эмпирически нужен мне. И он это знал: охотно возился со мной заболевавшим себе самому поставленной проблемой: в душе моей стояло совершенно конкретное порывание придти к мистерии, обряду, своего рода трапезе душ, и потому я себе самому выдвигал задачу, постоянно уводящую меня от пути художественного творчества в направлении к «мистерии»; «мистерия» подменилась хором «аргонавтов», «орхестрой»,

---

[1]) О котором Л. Семенов в эпоху своего толстовства и ухождения в секту сказал непосредственно после своего свидания с Толстым: я не знаю, кто больше — Лев Толстой или этот епископ.

не имеющей ни общественности, т. е. широких слоев, вовлеченных в интересы, нас связывающие, ни подлинной церковности: орхестра разлагалась тем, что новое, нас соединяющее, было в каждом лишь искрой, а прошлое, ветхое, из которого каждый приподнимался к «Арго», перевешивало своим грузом грядущее, которое виделось, ведь, зарею.

Атмосфера разрывалась: что общего в самом деле было между нами, — из каких разных сфер мы подошли друг к другу? Прошлое Эллиса — финансовое право, Маркс, одно время проф. Озеров и агитационная марксистская деятельность в студенческих кругах. Прошлое мое — студент естественник из исконного профессорского круга; А. С. Петровский — сын редактора «Московских Ведомостей», общавшийся некогда с А. А. Тихомировым, Говорухой — Отроком, впоследствии атеист, любивший К. Леонтьева, Страхова, Розанова; Е. К. Метнер — сначала славянофильствующий гетеанец, потом германофильствующий гетеанец-же; С. М. Соловьев — «соловьевец» par excellence; П. Н. Батюшков — теософ; М. А. Эртель — оставленный по истории при Герье, примкнувший с одного бока к нам; П. И. Астров, увлекающийся проповедью священника Петрова в девятьсот четвертом году, в то время судебный следователь и будущий мировой судья, затаскивающий порой на наши шумные юные заседания из городской думы своего брата Н. И. Астрова (будущего деникинского министра), который приходил, как он выражался, погреться в умственных разговорах после практической деятельности; В. П. Поливанов — поэт, шекспирист, не дурно играющий, не то ницшеанец, не то байронист; В. В. Владимиров — художник, овеянный веяниями «русского стиля» и музыкой Римского-Корсакова; М. И. Сизов — не то поэт, не то аскет, студент естественник, занимающийся физиологией и почитатель буддистского трактата; Н. И. Петровская — метущаяся туда и сюда; Г. А. Рачинский — советник губернского правления и бывший член редакционного комитета журнала «Вопросы философии и психологии»; К. Н. Киселев — бездна начитанности, знаток поэзии трубадуров и средневековья, трактатов по оккультизму, впоследствии почтенный музеевед, мечтающий о каталоге всех каталогов. Что было общего в нас? Мозаика профессий, устремлений, вкусов, однако, как то уживалась вместе, но — в искре, в мгновении, в «неуловимом», чтобы тотчас же угаснуть, заваленной шумными разговорами. Нет, скорее, «аргонавтическое общение» было проходным двором, станцией, где мы зажигались общением, чтобы безвозвратно разойтись в будущем.

Действительно, как прошлое наше было различно, так различно оказалось и будущее: ныне Эллис — католик, чуть ли не иезуит, С. М.

Соловьев — священник, побывавший в православии и в католичестве, А. С. Петровский, Сизов и я — антропософы; Е. К. Метнер где-то професорствует в Цюрихе, Эртель — ставший одно время чуть ли не оккультным учителем, ныне канул в Лету забвения. Эта разность прошлого и разность будущего мучительно чувствовались в девятьсот четвертом году, как назревающий диссонанс, разрывающий наши аргонавтические чаяния. И в этих диссонансах разрывался я, как Дионис, сошедший в этот хаос, чтобы извлечь из него музыкальный звук «мистерии», пытаясь подслушать в хоре противоречивых мнений совершенно новую проблему общественности, новую коммуну.

А. А. был глубоко чужд конкретностям моей тогдашней московской деятельности: быть сплотителем и организатором «аргонавтической» волны символизма. Он видел: все тут трещит по швам; он — понимал, что я это слышу и страдаю. С нежностью входил он во все мои московские устремления, не для них самих, а ради меня, которого уже к концу этого месяца он полюбил и почувствовал братом. Он видел мой разрыв между христианством и ницшеанством и понимал меня насквозь ради меня. Именно в ту пору, в моей душе бывали горькие взрывы. Однажды он ответил мне на письмо и стихотворение, написанное вскоре после его пребывания в Москве, стихами:

«Так, я знал, и ты задул яркий факел, изнывая в дымной мгле» ...
Молчаливому от муки шею крепко обниму...
. . . . . .
Неразлучно будем оба клятву Верности нести;
Поздно встретимся у гроба на серебряном пути...
И тогда в гремящей сфере небывалого огня
Светлый меч нам вскроет двери ослепительного дня».

Помнится мне характерный вечер в книгоиздательстве «Гриф», где особенно мучительно переживалась нестроица тогдашних московских собраний. Были: А. А., я, Эллис, Батюшков, Эртель, молодые грифские поэты, какие то барышни в стиле «нуво». Произошел явный «балаганчик» от искусственности одних, смехотворного пафоса других, грубости и нечуткости третьих. Молодые декаденты желали подладиться к «мистикам», А. Блоку и А. Белому, теософы желали показать, что и они «декаденты», Эллис бил всех по голове Бодлером и при этом ему казалось, что все с ним согласны. Батюшков и Эртель, впавши в мистический экстаз, к часу ночи, заявили: первый — что грядет новый учитель, а второй — что мы «теургией» расплавим мир, что в этом смысле вся Москва охвачена пламенем. Это было уже сценой из «Балаганчика».

Тогда некий присяжный поверенный, равно далекий от искусства, теософии и мистики, громким басом воскликнул, представляясь, что и он чем то охвачен: «господа, стол трясется»... [1]).

А. А., любезно-светский, стал темнеть, каменеть. Я почувствовал свою обычную боль от того, что все «не так». Кроме того, мне было перед А. А. невыразимо стыдно за москвичей (каждый в отдельности был, ведь, и чуток и тонок, а коллектив из каждого извлекал только фальшивые звуки). Было больно и потому, что А. А. имел двоякую атмосферу: атмосферу той тишины и глубины, из которой веял розовый воздух, и атмосферу жути, испуга и безнадежности, которая начинала действовать вокруг него, когда он темнел и каменел. В атмосфере, распространяемой им в такую минуту, казалось что все, все, все светлое погибло без остатка, сгорело, провалилось в бездонную ночь. От этого мне делалось особенно больно. Наконец я видел, что «Балаганчик» сердит Л. Д. и мучает Н. И. Петровскую, мучает ее лично, мучает ее и за А. А., и за меня. Так каждый из нас думал о другом, что он, другой, думает. Помню, что А. А. вдруг вышел из своей оцепененности и с необыкновенной, только ему свойственной, мягкой жалостью и любовью посмотрел на Н. И. Петровскую, и стал вдруг как то активен. Так, когда мы предчувствуем горе, мы сумрачны, а когда оно разразится, то лучшим из нас некогда горевать: они спешат пособить горю. А. А. некогда было, в этот вечер, отдаваться своей боли от нестроицы всего этого безобразного вечера. Он спешил помочь мне, действительно переживающему в этот вечер начало катастрофы всех былых чаяний о новой орхестре, о новой коммуне братски настроенных душ. Помню, когда мы втроем вышли от «Грифов», — А. А., Л. Д. и я, — (я провожал их до Спиридоновки) мы говорили о вечере: Л. Д. сердилась, а А. А. своими неуловимо нежными словами, короткими фразами, улыбкой, переходящей в грустно-юмористическую, буквально отходил меня. В этом внимании к моему миру, ему во многом чуждому, сказалось столько доброты, столько конкретной сердечности, наблюдательности, подлинного христианского братства, что, чем более вникаю, тем более склоняю голову перед ним. И как я был эгоистичен в то время: я видел лишь свои идеалы, чувствовал лишь свою боль. А. А. я любил, но из своего мира мыслей. Я видел его в «моем» и не видел его в «его» собственном мире, где

---

[1]) Через семь месяцев в этой квартире начались сильные медиум. явления, и объявился спирит. кружок, в котором, если не ошибаюсь, приняли участие Н. И. Петровская, С. А. Соколов, А. А. Ланг, Компов, Ребиков, В. Я. Брюссов. Спириты были нам не интересны и казались просто не чистоплотными.

были свои боли, свои тяготы и, быть может, гораздо более глубокие сомнения. О, да; в отношениях между нами двоими я был всегда эгоистом... я приходил во второй половине московского месяца к Блокам чуть ли не каждый день, усаживался в кресла и жаловался на свои неудачи и разочарования, читал стихи, высказывал свои упования. А. А., молча, посиживал рядом со мной, склонив свою кудрявую голову, отряхивая пепел своей папиросы и сопровождая меня всюду в орнаментах моего духовного мира: ну, конечно, он был старше, жизненно-мудрее меня. Л. Д. посиживала у окна, или наливала чаю. Так создался тогда своеобразный уют между нами троими. Странно, на темы, связанные с Прекрасной Дамой мы вовсе не говорили в то время. Теократическая горячка, которую вносил в наше общение С. М. Соловьев, оборвалась с его болезнью (он заболел скарлатиной). Мы мало говорили и о литературе. Изумительно, что мы, оба любящие литературу, оба поэты, почти не говорили о поэтах, я даже не представлял себе ясно литературных вкусов А. А.

Мы говорили или о простом, близком, нашем, человеческом. И это простое, близкое и человеческое А. А. мне освещал своей глубинной мудростью: не мудростью теорий, вопросов философии, а мудростью простых жизненных слов, или мы говорили на общие, я бы сказал, «вольфильские» темы уже тогда, в те годы. Из всех наших разговоров о литературе мне запомнился лишь один: я удивлялся изысканности брюссовских рифм, удивлялся, что А. А. не придает рифмам того значения, которое придавали мы с С. М. что он менее нас увлекается Брюссовым, не считает С. М. Соловьева за поэта («Сережа», говорил он, «совсем другое»). К Брюссову относился с особым юмором, соединявшим в себе скепсис с своего рода нежностью, — меня же он побранивал за начинающее проглядывать в моих стихах влияние Брюссова; характерно, что он всегда меня не одобрял в мой период увлечения Брюссовым. Характерны строчки из письма его мне: «спасибо за стихи, книги, а главное, за любовь; в стихах лучшие строчки: «на руках и я носил золотые кольца», а вообще сочинение, если не Валерия Яковлевича Брюссова, то по крайней мере Валерия Николаевича Бугаева. Тоже все время происходит со мной, и в еще большем размере, так что от моего имени остается разве, что окончание «ок» Валерий Яковлевич Бр.....ок). Я в отчаянии и усиленно надеюсь на исход из «асфальтовых существительных». Асфальтовыми существительными называл он характерные брюссовские рифмы: асфальте, базальте, жальте, которыми мы упивались. Так же, как к Брюссову относился он вообще к декадентам; позитивисты — те его выводили из

терпения: позитивистов и материалистов считал он вредными дураками.

В то время я только что познакомился с тремя юношами, из которых один, математик, бывший ученик моего отца, был глубоко погружен в религиозные проблемы, бывал у меня чаще других, — это был П. А. Флоренский, впоследствии священник. Другие двое — В. Ф. Эрн и П. В. Свенцицкий; все трое организовали религиозно-философский кружок, который вскоре открыл свои действия в университете, как секция истории религии при обществе имени Сергея Трубецкого. На первых заседаниях председательствовал С. А. Котляревский, а постоянными участниками были: Флоренский, Свенцицкий, Эрн, братья Сырачевские, Шер. Частыми посетителями бывали: я, М. И. Сизов, Г. А. Гривцов, Великанов, А. С. Петровский, А. Кайранский. В этом кружке я дожен был прочесть реферат. В маленькой комнате у Эрна, жившего где-то около Храма Спасителя, густо набитой людьми, мне тогда мало знакомыми, состоялось это чтение. Мы были вместе с А. А. Я увидел, что он особенно был сумрачен и каменен в этот вечер, а я по обыкновению пустился во все тяжкие споры и прения. Ни разу в Москве я не видел А. А. таким измученным, как тогда. Когда мы с ним вышли на воздух, он признался, что все в этом кружке ему крайне не нравится. «Люди»? — спросил я его. «Нет, а то, что между ними». Я не понял тогда его, но действительность оправдала слова А. А.: через год в этом кружке образовалось «христианское братство борьбы» из которого вышли П. А. Флоренский и А. С. Петровский (тогда оба ставшие студентами троице-сергиевской духовной академии), ясно почувствовав фальш и реакционность братства, к которому одно время примкнули А. С. Волжский (Глинка) и С. П. Булгаков. Братство печатало прокламации и разбрасывало по Москве. Е. Л. Лундберг и некто Беневский взялись распространять эти прокламации на юге России (братство борьбы не имело никакого значения). И далее назревала тяжелая драма личного и идейного характера между членами кружка. А. А. с первого же посещения этого кружка, (из которого выветвилось моск. религ.-философское общество), как бы чуял ауру, над ним скопившуюся. Вообще А. А. был барометром повышения и понижения всех интимнейших индивидуальных, кружковых и общественных настроений. Чуткость его доходила до ясновидения.

Так завершилась наша первая встреча в Москве, так провели мы январь и начало февраля 1904 года в первый раз вместе. В начале февраля Блоки уехали. Из писем А. А. Кублицкой в Москву к кому

то из родственников С. М., мы узнали, что в общем А. А. вернулся бодрым и радостным, довольным Москвой.

III

ШАХМАТОВО.

В период от февраля до мая 1904 года мы хоть изредка и переписывались с А. А., но переписка наша не была напряженной: я весь был поглощен теми переживаниями, смятениями и событиями моей биографической жизни, которые вызвали во мне решительный перелом в тоне настроения, — от настроения с 1900 по 1904 г.г. к тону настроения от 1905 по 1909 г.г. Последния стихотворения «Золота в лазури» дописывались, первые стихотворения «Пепла» подходили. А. А. дописывал первые стихотворения периода «Стихов о Прекрасной Даме» и подходил к началу стихов «Нечаянной Радости».

Я подчеркиваю опять: стихии жизни, которым отдавался А. А., переменились. Началась японская война. Предреволюционный период уже чувствовался — с одной стороны, а с другой стороны цвет зорь изменился (и в символическом и в метеорологическом смысле). Строчки А. А., обращенные некогда ко мне, — «понял, что будет темно», — осуществились. Душевная атмосфера темнела. Не было недавней лучезарности и в метеорологическом смысле: зори гасли, период особых свечений 1902—1903 г.г., вызванный пепельной пылью, развеянной с места Мартиникской катастрофы по всей земной атмосфере, кончился. Необыкновенные нюансы зорь сменились обычными. В отдельных сознаниях передовых символистов назревала едкая горечь. Самая атмосфера символизма плотнела, экзотеризировалась, осаждалась книгами и литературой. Солнечный поэт того времени Бальмонт угашал свои лучи падением в тусклую «Литургию Красоты». Наоборот, — поэты тьмы и зла, Сологуб и Брюссов, крепли, очерчивались в своих произведениях («Огненный Ангел» и «Мелкий бес»). Самая неуловимая стихия, нас обуявшая, проникая в несимволические круги модернизма и передовой критики, ощупывалась, измерялась. Розово-золотой воздух в их руках подменялся шелковой материей. Бралось внешнее оперение внутреннего ядра и создавались абстрактные контуры идеологии символизма. Наконец свершилось пришествие в русский модернистский мир такого крупного идеолога, как Вячеслав Иванов, впервые появившегося в Москве из заграницы весной 1904 года. Он с одной стороны дал глубокое обоснование на-

шим идеям, с другой — непроизвольно расширил самую сферу исканий лишив ее остроты и напряженности. Спаивая декадентов, неореалистов, символистов и идеалистов в одно стадо и тем подготовляя «александрийский», сюнкретический период символизма, он давал материал для статейных популяризаций непопуляризируемого. В этом смысле роль Вяч. Иванова огромна и в светлом и в темном смысле: с одной стороны он стоит, как углубитель и обосновательидеологических лозунгов декаденства и до-декаденства, строя мост к символизму через многих и давая материал «несимволистам» считать себя «символистами»; становилось нечто вроде знака равенства между театром и храмом, мистерией и новой драмой, Христом и Дионисом, Бого-Матерью и всякой рождающей женщиной, Девою и Менадой, любовью и эротизмом, Платоном и греческой любовью, теургией и филологией, Влад. Соловьевым и Розановым, греческой орхестрой и парламентом, русской первобытной общиною и Новым Иерусалимом, левым народничеством и славянофильством и т. д. С другой стороны роль Вяч. Иванова несомненна, как роль отравителя чистоты воздуха самой символической среды, — она мало изучена.

Все эти причины, взятые вместе, (космические, общеполитические, русско-общественные, кружковые) и вызвали впечатление угасания зорь.

Я характеризую эту эпоху не спроста, а в духе сравнения А. А. который в предисловии к поэме «Возмездие» характеризует стихию России 1910—1911 годов, ищет характеристики в разнообразных факторах общих и индивидуальных: «все эти факты, — пишет он в предисловии к третьей части поэмы, — казалось-бы, столь различные для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему знанию в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор». Все истинно философские культуры идут именно этим путем. Таким путем шел Ницше, всматриваясь в культуру Греции. Таким путем идет ныне в Германии замечательный Шпенклер [1]). Действительность, даже биография А. А. необъяснима без фона ее строящих: ритма и перебоя, «музыкальных напоров», «шума времени», вплоть до личных отношений. Шум времени нас с ним свел, шум иного ветра развел одно время, казалось бы, в разное, а на самом деле в подобное друг другу. Шум времени 1910 — 11 г.г. свел снова. Так наши будущие расхождения с ним, расхо-

---

[1]) «Untergang des Abendlandes» «Socialismus Pressenthum».

ждения в оценке событий 1905—06 г.г., были подготовлены одинаковым отходом от эпохи 1900-го—1902-го года, казалось бы, в разные стороны, а на самом деле: с разных сторон мы встретились снова. Период с 1904-го до 1908 годов был для А. А. периодом «Нечаянной Радости», драмы «Снежная Маска», а для меня — «Пепла», «Кубка Метелей» и «Урны». Его интересы к земле и к реализму, к писателям реалистам [1]), народнический стиль моего «Пепла», его «Снежной Маски», моего «Кубка метелей» (лейт-мотив — распыление прежнего именно розово-золотого воздуха), вели нас путем расхождения и подготовляли нас к новой встрече в теме — Россия. (Тема стихов его третьего тома изд. Пашуканиса и тема моих романов «Серебряный Голубь» и «Петербург»). Россию мы с ним любили особой любовью. Одинаково начинаем мы с ним период временного угасания зорь, (ощущение «Пепла» и «болотного тумана» Нечаянной Радости), как одинаково начался у нас период их возжигания.

Помню, что мне, и стихийно, и биографически пережившему с болью период подмены зорь медиумизмом, на письма мои и стихи к А. А., начинающиеся с крика боли («Багряницу несут и четыре колючих венца... не оставь меня друг, не забудь»), А. А. ответил: «и ты задул яркий факел, изнывая в душной тьме». Это — «и ты задул» характерно. А. А. констатирует факт: факелы задувались. И оттого-то впоследствии я с такой необузданной злобою (не делающей чести мне) встретил «Факелы» — сборник мистических анархистов: самое заглавие мне казалось пародией на задутые факелы уже отошедшей, неповторимой, но и не прочитанной до сего дня эпохи. Характерны строки из письма А. А., полученного мною именно в то время, 1 апреля 1904 года: «мы поняли слишком многое и потому перестали понимать. Я не добросил молота, но небесный свод сам раскололся [2]). Я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник, полный расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных не остановленной машиной, а с другой стороны нашей воли, свободы, просторов. И так везде расколотость, фальшивая для самого себя двуличность, за которую я бы отмстил, если бы был титаном, а теперь только заглажу ее. Как видишь, я пишу несвязно, я окончательно потерял последнюю внутреннюю возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, но просто ясно вижу розовую пену и голубой гребень волны, которая

---

[1]) Смотри статью в „Золотом Руне" 1907—1908 г.

[2]) Намек на строчки из моих стихов.

меня несет, поэтому пронесет, а что дальше, опять не знаю..... Мне кажется, я могу сказать тебе окончательно о тебе самом — ты не умрешь. Представь себе я должно быть знаю это всегда. Иногда я вдруг сознаю в твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобно твоему последнему, ты схватываешь меня за локоть и кричишь: не попади под извозчика, а извозчик — В. В. Розанов — едет, едет день и ночь с трясущейся рыженькой бороденкой, с ямой на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: мы с Борисом Николаевичем, — но все таки я не знаю, что же с тобой теперь и едва ли пойму». Этот неуверенный тон письма точно отображает неуверенность наших тогдашних переживаний.

Помнится мне, что последним моим стихотворением этого периода было стихотворение «Безумец» («я не болен, нет, нет»), а через короткое время я написал «Тройку», «Аргонатов», «Я бросил грохочущий город на склоне палящего дня»,—т. е. реалистические стихотворения, где встает серенькая природа средней России. А. А. писал, что «фиолетовый запад гнетет, как пожатье десницы свинцовой» и ряд стихотворений, открывающихся его знаменитой «Осенью» — «битый камень лег по косогорам, скудной глины желтые пласты»... (стихотворение, написанное в период «Нечаянной Радости» и сперва там напечатанное). В стихотворении есть строчки—«нищий, распевающий псалмы». Вот подлинный лейт-мотив, соединивший нас в ощущении, что-то недопонято, что-то не введено в жизнь, что-то обмануло: «арго», взмахнув золотыми крылами, опустился с «безумцем» в сумасшедший дом («я не болен, нет, нет»), откуда безумец бежал («я бросил грохочущий город»), забродил по России с ворами и босяками, совершенно нищий (тема «Пепла»), — но эта тема весной 1904 года еще лежит в подсознании.

Помнится, в апреле 1904 года я проводил время с Е. К. Метнером в Нижнем Новгороде; там встречались с А. П. Мельниковым [1]) и много беседовали на темы о сектантских и религиозно-философских интересах русского общества. Е. К восхищался стихами Блока, но не раз мне говорил, что некоторые стихотворения эпохи «Прекрасной Дамы» носят в себе стихию хлыстовства, что я опровергал. Метнер мне выдвигал психологическую опасность в поэзии тем теургизма и соловьевства, оставляющих в душе яд Врубелевской зелено-лиловой сирени (или «Ночной Фиалки»), что и А. А. и мне по раз-

---

[1]) Сын Мельникова-Печерского, знатока русского северного сектанства.

ному грозит привкус Врубелевской темы, т. е. грозит демон искусства за попытку выйти из сферы чистого искусства. Это Демон, о котором в «Добротолюбии» говорится, что это — Демон Печали: «символом этого духа служит ехидна, которой яд в малом количестве даемый уничтожает другие яды, а принятый неумеренно убивает» (Добротолюбие т. I из Антония Великого «О различных порочных помыслах»). После смерти А. А. мне показали этот текст, подчеркнутый рукой А. А. с припиской—«этот демон необходим для художника». Другую духовную характеристику сопровождает А. А. пометкой: «знаю, все знаю». Это показывает, как А. А. в своем молчании, в скрытой своей глубине, под фактами биографической жизни, наблюдал и изучал факты состояния сознания, а не только слепо отдавался им, т. е., будучи по природе мистиком, силился преодолеть эту свою мистику в сторону «духовного веденья». Это преодоление мистики без «школы опытного знания» (духовной науки), возможно, но опасно, мучительно, длительно и обставлено бывает тяжелыми ударами и разочарованиями в жизни, ужасным томлением. В период этих испытаний вступил А. А. в 1904 году после периода мистического подъема. Испытание для нас, «мистиков» 1900—1902 г. было необходимо. В том же томе Добротолюбия сказано: «впрочем, всякий, кто, подражая Аврааму, изшел из земли своей и народа своего, стал через то сильнее». Все эти места я привожу потому, что они подчеркнуты рукой А. А. Лейт-мотивом скитаний, блужданий и бесприютности — «нищий, распевающий псалмы»,—завершается период, следующий за эпохой «Стихов о Прекрасной Даме». В жизни А. А. внутренне: ищет пути, выходя из дому на дорогу — «выхожу я в путь открытый взорам»... И внешне: в его жизни кончается период. В 1906 г. А. А. кончает университет, переселяется с женой из дома матери. Все это лишь эмблемы другого переселения, другого ухода начавшегося еще раньше, ухода из атмосферы 1900 — 02 годов, после выжидательного периода 1903 г., сопряженного даже с уходом от лучших друзей мистического периода. А. А. расходится в 1905 году с С. М. Соловьевым. В 1906 году происходит временное отхождение нас друг от друга. У него иные друзья, иные интересы (В. Иванов, Г. Чулков, театр Коммиссаржевской и т. д.). О прежних друзьях пишет приблизительно в 1905 году в «Ночной Фиалке» с грустью он: «ибо, что же приятней на свете, чем утрата лучших друзей». Зная верность к друзьям А. А. и его доброту, его глубокую душу, исполненную и размахом моральной фантазии и глубочайшей элементарной честностью, самая легкость этого заявления — показатель глубины страдания и печали лежащей под ней.

Эта-то глубина боли, связанная с самопознанием и попытками чтения стихии собственной душевной подосновы, есть начало выхода в путь. А. А. становится путником, «нищим, распевающим» на дорогах мира, в то время, когда мы, «мистики», тщимся задержать неизбежный ход духовного развития, сохраняя стихию для себя («мистик», осознавший неизбежность преодоления мистики и продолжающий искусственно себя питать суррогатами «подъемов» есть буржуа).

Чувствую себя так: бессознательный буржуа, жаждущий мистического комфорта, в то время в начале 1904 года и чувствую А. А. видящим это мое раздвоение и рвущим для себя компромиссы. В эпоху 1904 года я этого еще не мог понять в нем, ибо его «боли» не видел, видел свою боль и сознательно тянулся к А. А., как к старшему брату, ища найти в нем, или вокруг него, причины, исцеляющие крах моего того переходного времени.

В начале лета 1904 года я получаю приглашение от А. А. приехать к нему в Шахматово погостить вместе с С. М. Соловьевым. Приехав в Москву в июле 1904 года перед смертью Чехова, и застряв в ней недели на две, частью по делам, частью потому, что мне как то неповадно было одному без С. М. ехать к Блоку, ибо я знал, что в Шахматове проживает кроме А. А. и Л. Д. его мать, Александра Андреевна, и две его тетки Мария Андреевна и София Андреевна с семейством. Но С. М. опаздывал. Блоки ждут меня: и я решаюсь ехать один. Но неожиданно мы едем с А. С. Петровским, приглашения не получившим, но почему то поехавшим со мной. Ему очень хотелось в то время поближе узнать А. А., которого он и любил, и ценил. Не помню, как он решился на эту поездку, но помню, что, сидя в вагоне, мы вдруг почувствовали конфуз: я от чувства, что еду в чужой дом и везу товарища, который не приглашен, а А. С от того, что как будто сам напросился на эту поездку. Помнится нам было как то не по себе. Стояла прекрасная солнечная погода. И мы говорили, мне помнится, о спиритизме, которому отдались некоторые из знакомых в Москве и который я считал вредным и несостоятельным. Так приехали мы на станцию Подсолнечную, где вышли и наняли какую-то неудобную и тряскую бричку, в которой чувствовали себя плохо, а дорога (18 верст от станции) была неудобная, ухабистая. Приходилось много ехать лесом. Я осматривал окрестности Подсолнечной и устанавливал разницу в стиле пейзажей между «Крюковым» и «Подсолнечной». До Крюкова тянется один стиль: мягких лугов, березовых лесов, балок, оврагов и гатей. Между Крюковым и Подсолнечной пейзаж резко меняется,

становится красивее, менее уютным, более диким, лесным и одновременно более гористым, леса угрюмее, дороги, деревни меньше и беднее (подмосковные деревни обслуживают Москву). Мистическое настроение окрестностей Шахматова таково, что здесь чувствуется как бы борьба, исключительность, напряженность, чувствуется, что зори здесь вырисовываются иные среди зубчатых вершин лесных гор, чувствуется, что и сами леса полные болот и болотных окон, куда можно провалиться и погибнуть безвозвратно, населены всякой нечистью («болотными попиками» и бесенятами). По вечерам «маячит» Невидимка, но просияет заря и Она лучем ясного света отражает лесную болотную двойственность. Я описываю стиль окрестностей Шахматова, потому что они так ясно, четко, реалистично отражены творчеством А. А. Пейзажи большинства его стихотворений (стихов о «Прекрасной Даме» и «Нечаянной Радости» — шахматовские). Мне кажется, что я знаю место, где могла стоять «молчавшая и устремившая руки в зенит» — неподалеку от церкви, на лугу, около пруда, где в июле цветут кувшинки. Мне кажется, что высокую гору, над которой Она «жила» («Ты горишь над высокой горою») я тоже знаю: над ней, над возвышенностью за Шахматовым, бывает такой ясный закат, куда мчались искры от костра поэзии А. А. в 1901 г. А дорога, по которой пошел «нищий, распевающий псалмы», («битый камень лег по косогорам») — московское шоссе по направлению к Клину, где есть и косогоры, и где битый камень, которым трамбуют шоссе, находится в изобилии. По этому шоссе около Клина (следующая станция) я гулял ребенком восьми лет, проживая в Демьянове (Касьяново Котика Летаева) и бывая в Нагорном, которое прекрасно знакомо было и А. А. и Л. Д., ибо оно лежит как раз посредине между Шахматовым и Клином около этого же шоссе. Конечно я импровизирую: разумеется в то время, я не мог смотреть оком биографа на места, где протекало детство, юность и молодость А. А.

Помнится лишь, что подъезжая к Шахматову и отмечая связь пейзажей с пейзажами стихотворений А. А., мы с А. С. Петровским впали в романтическое настроение, вспомнив, что мы все, которые должны были вместе провести эти дни в дружественной атмосфере, выросли и провели детство в этих же местах: я под Клином, С. М. Соловьев в Крюкове, А. С. Петровский, если не ошибаюсь, в Поваровке (полустанок между Крюковым и Подсолнечной), А. А. под Подсолнечной и Л. Д. Блок тоже (имение Менделеевых Боблово, если память не изменяет, находится на расстоянии 8-ми верст от Шахматова).

В таком настроении мы вплотную приближались к Шахматову, усадьба которого, строения и службы выростают почти незаметно, как бы из леса, укрытые деревьями. Тут мы попросту «по мальчишески перепугались», когда бричка въехала во двор, и мы очутились у крыльца деревянного, серого цвета, одноэтажного домика с мезонинной надстройкой в виде двух комнат второго этажа, в которых мы с А. А. и жили потом. Помню, что в передней нас встретила А. А. Кублицкая и М. А. Бекетова (тетка А. А.). Обе были несколько растеряны нашим приездом до впечатления неприязненности. Так мне показалось тогда, и это впечатление сохранялось во мне в первые часы нашей встречи, но уже к вечеру рассеялось. Мне показалось, что А. А. Кублицкая чуть не ахнула, увидав меня таким, каков я есть, предполагая увидеть какого то «лебедя», а встретив «гадкого утенка» (все от эгоизма, замкнутости, маски, которую я в себе ощущаю, при всей своей внешней подвижности и говорливости). А. С. Петровский тоже свял. Помню, что нас провели через столовую в гостиную, и мы уселись вчетвером, не зная, что сказать друг другу. Странно: я удивился Александре Андреевне почти так же, как удивился А. А. при первом свидании с ним. Я не подозревал, что мать Блока такая. Какая? Да такая тихая и простая, незатейливая и внутренно моложавая, одновременно и зоркая, и умная до прозорливости, и вместе с тем сохраняющая вид «институтки-девочки», что при ее летах и внешнем облике было странно. Впоследствии я понял, что причина этого впечатления: подвижная живость и непредвзятость всех ее отношений к А. А., к его друзьям, к темам его поэзии, которые привели меня в скором времени к глубокому уважению и любви (и, если осмелюсь сказать, и дружбе), которые я питал и питаю на протяжении 18 лет к А. А. Кублицкой-Пиотух. Но в эту первую минуту мне было трудно. Я не мог ни за что уцепиться, и мы суетливо метались словами. Узнав, что А. А. и Л. Д. ушли на прогулку в лес, я окончательно впал в уныние,—и А. С. тоже. Помнится мне, что впечатление от комнат, куда мы попали, было уютное, светлое. Обстановка комнат располагала к уюту; обстановка, столь мне известных и столь много любимых небольших домов, где все веяло и скромностью старой дворянской культуры и быта и вместе с тем безбытностью: чувствовалось во всем, что из этих стен, вполне «стен», т. е. граней сословных и временных, есть таки межи в «золотое бездорожье» нового времени,— не было ничего специфически старого, портретов предков, мебели и т. д., создающих душность и унылость многих помещичьих усадеб,

но не было ничего и от «разночинца», — интеллектуальность во всем и блестящая чистота, всюду сопровождающая Александру Андреевну. Помнится, что после неловкого сидения вместе, во время которого появились молодые люди небольшого роста с вылощенными манерами и были представлены нам, как дети Софии Андреевны (один из них правовед), после появления Софии Андреевны, которая мне очень понравилась, мы вышли на террасу в сад, расположенный на горе с крутыми дорожками, переходящими чуть ли не в лесные тропинки (лес окружал усадьбу), прошлись по саду и вышли в поле, где издали увидали возвращающихся с прогулки А. А. и Л. Д. Помню, что образ их мне рельефно запечатлелся: в солнечном дне, среди цветов, Л. Д. в широком, стройном розовом платье-капоте, особенно ей шедшем, и с большим зонтиком в руках, молодая, розовая, сильная, с волосами, отливающими в золото, и с рукой, приподнятой к глазам (старающаяся, очевидно, нас разглядеть), напомнила мне Флору, или Розовую Атмосферу, — что то было в ее облике от строчек А. А. «зацветающий сон» и «золотистые пряди на лбу»... и от стихотворения «вечереющий сумрак, поверь». А А. А., шедший рядом с ней, высокий, статный, широкоплечий, загорелый, кажется без шапки, поздоровевший в деревне, в сапогах, в хорошо сшитой просторной белой русской рубашке, расшитой руками А. А. (узор, кажется, белые лебеди, по красной кайме), напоминал того сказочного царевича, о котором вещали сказки. «Царевич с Царевной» — вот, что срывалось невольно в душе. Эта солнечная пара среди цветов полевых так запомнилась мне (А. С. Петровский вечером, раздеваясь, сказал мне: как они подходят друг к другу).

И помнится, А. А., увидев нас, сразу узнал и прибавил шагу, чуть ли не побежал к нам и с обычной, спокойной, неторопливой, важной и вместе милою лаской остановился, не удивившись: «ну вот, и приехали». Это было обращение к А. С. Петровскому, которому он сразу же подчеркнул всем своим видом — «очень хорошо, что и он приехал». А ведь А. А. мог естественно удивиться и сконфузить А. С. Мы все вместе неторопливо пошли в дом, разговаривая о причинах замедления Сережиного приезда, о моих московских друзьях, с которыми познакомился А. А., о милых, так себе, пустяках, смысл которых может меняться, выражая скуку, натянутость, ласку, молчание просто. И мне показалось, что все это «ласковое молчание», гласящее: торопиться некуда, — согретое солнцем, и такое легкое, приглашало к комфорту. Я почувствовал себя в Шахматове, как дома. Эту атмосферу создавал А. А., который незначущими признаками

и тончайшей хозяйской внимательностью рассеял тотчас же между нами последние оттенки принужденности (О, насколько я был неумелым хозяином при первой нашей встрече в Москве!). В А. А. чувствовалась здесь опять таки (как не раз мною чувствовалось при разных обстоятельствах) не романтичность, а связанность с землею, с пенатами здешних мест. Сразу было видно, что в этом поле, саду, лесе, он рос, и что природный пейзаж — лишь продолжение его комнаты, что шахматовские поля и закаты — вот подлинные стены его рабочего кабинета, а великолепные кусты никогда мною невиданного ярко-пунцового шиповника с золотой сердцевиной, на фоне которого теперь вырисовывалась молодая и крепкая эта пара, — вот подлинная стилистическая рама его благоухающих строчек:—в розово-золотой воздух душевной атмосферы, мною подслушанный еще в Москве, теперь вливались пряные запахи шахматовских цветов и лучи июльского теплого солнышка, — «запевая, сгарая, взошла на крыльцо», это написанное им тут, казалось мне, всегда тут всходит.

Ловлю себя опять на конфузящем меня казусе. Прошу извинения у читателей этих воспоминаний, наверное литературных поклонников покойного А. А.: им хочется услышать от меня подлинные слова А. А., о том или ином подлинном их интересующем ходе его мыслей, о том или ином предмете, о том или ином литературном явлении, а я, точно нарочно, избегаю приводить подлинный контекст его слов, мыслей, характеристик, и вместе с тем рисую внешний облик его и стиль держаться со мною, сопровождая это изображение моими психологическими характеристиками. Я слышу: устраните себя, дайте вместо себя покойного. И — нет, не могу. Не могу по разным причинам. Во-первых, на расстоянии восемнадцати лет невозможно восстановить слова и даже внешнюю линию мысли, не привирая, — а привирать не хочу. Во-вторых, особенность моей памяти в том, что она более всего устремляется на фон разговора, на жесты общения, на молчание, питающее его, и запоминает точно, ручается точно за них. Фотографический снимок с жестов, с переживаний — верен. А слова и мысли я вечно путаю (и по сие время не могу привести точно никакой цитаты из поэтов, перевираю всех и прежде всего себя самого). В третьих, А. А. всегда говорил особенным своим языком, метким и четким, как напряженная стихотворная строчка, языком, поворачивающим вдруг на такой ритм мысль, что в процессе уловления этого ритма, забывались, трудно запоминаемые, как стихи тексты его фраз. Наконец, у нас был свой жаргон и многие словечки этого жаргона требовали чуть ли не историколитературных ком

ментарий. Еще: действовала между нами главным образом атмосфера, слова подстилающая, переживаемая коллективно, то как тишина, то как образование облака, которое в молчании прослеживали: как оно возникло из словесного жеста, куда плыло, куда уходило. Словом, мы часто вызывали между собой невольные ландшафты переживаний, где невозможно было выключить слово из подстилающего его ландшафта, полного неожиданных метеорологических явлений, вызванных нами, на которых и сосредоточивалось наше внимание и где само приведенное слово, мнение, вне «атмосферы» и «жеста немого», было бы ложью. В этом смысле мое описание причин невозможности приводить мне слова А. А., больше слов А. А. характеризует его молчаливую глубину, которая присуща лишь гениальному человеку, независимо от того, сколько томов записанных разговоров осталось после него. У нас есть две пары ушей: одни слушают внешнее слово, текст слов, другие слушают внутреннее. Когда бодрствуют одни уши, то неизбежно погружаются в сон другие. Эккерман оставил два тома разговоров Гете, и мы благодарны ему за это, но можно с уверенностью сказать, что образ самого Эккермана, встающий хотя бы из слов, обращенных Гете к нему, есть образ милого очень и удобного собеседника, с которым не церемонятся, который не ведает «внутреннего языка», глух к нему, не слышит «темного смысла» в словах дневных «Die Nacht ist tief und tiefer als der Tag gedacht— Ницше) и оттого можно с уверенностью сказать: при написании двух своих томов Эккерман не написал главного третьего тома, рисующего Гете, выговаривающего изречения Гете. «Внутреннего уха» у Эккермана не было: это был ограниченный «молодой человек», — таким его видел Гете и так с ним говорил, что на всем протяжении двух томов Гете, автор «Фауста» встает лишь в одном или двух местах (например, в возгласе, обращенном к собаке — «я знаю тебя, Ларва»). Таких «молодых людей» любят нежно: они уютны, с ними не церемонятся, но, во-первых, с ними не говорят по существу, а во-вторых, они не слышат по существу, даже когда с ними заговорят, — оттого-то они так запоминают текст слов и не запоминают «музыку» слов, а ведь в музыке все дело.

«Музыка» жеста, глубина, ширина, невыговоренность, чреватость большими-большими и жизненными мыслями, — вот главное, в непередаваемом тексте речи А. А., которого я, не «молодой человек Эккерман», пытаюсь уразуметь, слушая «вторыми ушами». И оттого то теперь, когда хочу воспроизвести слова А. А., я с глубоким удивлением, досадой, отчаянием даже вижу, что они все канули в безгласную

бездну забвения. За то итог сказанного, жест сказанного — передо мною стоят, как живые отчетливые фотографии, я не имею даже права сказать себе: «отчего я не записал этих слов тогда еще»: если бы я их записывал, вытаскивая исподтишка книжечку, как это делали иные из посетителей Л. Толстого, то никогда между мной и А. А. не произошло бы тех незабываемых жизненных минут, взгляд на которые с биографической точки зрения был бы с моей стороны в то время действительно кощунством. И остается воскликнуть: «отчего я не Эккерман»! После этого детального разъяснения о стиле моих воспоминаний, я уже без зазрения совести продолжаю описывать А. А. так, как умею.

Да и умей я записывать, немногое я записал бы в этот первый день нашего пребывания в Шахматове, немного бы я записал «текстов» речи и в последующие дни: их почти не было со стороны А. А. (с моей очень много!). Была очень уютная, теплая, проникнутая до последних мелочей, не обращающая на себя внимания ласковость хозяина дома, которому хочется, чтобы гость чувствовал себя в его доме как бы во «внутреннем доме своем», хозяин которого не всякого просит к себе, но кого пригласит, тому уж распахивает дверь совсем до конца, до готовности поделиться последним, включая сюда и «душу» свою, но который в «духе» остается один, неразделенный, непонятый. Так снеговая гора, питая на теле своем все растения всех климатических зон (и подножную розу и приснежный эдельвейс) — вершиной своей, отделенной туманами, ясно блистает лишь в небо свое — одинокой вершиной. И, подобно тому, как вершина — источник рождения ключей, зеленеющих надгорья, так ключи, оцветившие нас с А. А. в нашем шахматовском житье, — та же медленная ласковость хозяина: «одиночество» чувствовалось в нем, но оно так грело приветом, — и я его слушал. Оттого-то так мало было между нами обычных «литературных» тем, обычных абстрактно-философских мысленных выявлений, и оттого-то так часто мы просиживали — «просто», «ни о чем», — «в Главном», — как говорили мы тогда на нашем языке. И эта главная нота моего общения с А. А. возникала тогда, когда он посиживал предо мной за чаем в своей белой рубашке и, ласково улыбаясь какой-нибудь безобидной болтовне, заведенной мною и часто смешной, аккомпанировал разговору. Как он любил добродушные шаржи, рисующие В. Я. Брюссова, «великого человека», или Г. А. Рачинского в «чине Мельхиседека», рисующие С. М. Соловьева крестом в знак его рукоположения, или восклицающего из тучи папиросного дыма на нас «урина и тумина» (знак еврей-

ского первосвященника). А. А. выслушивал мои шаржи на общих знакомых, сиял глазами, содрогаясь грудью от смеха и в рассеянности покрывал стаканом кружащуюся над вареньем осу. И это Главное веяло от него на меня, когда он вел меня в огород и показывал, взяв в руки тяжелый заступ: «а знаешь, Боря, этот ров копал я всю весну» (ров вокруг огорода). И мне казалось, что в копании этого рва и в огородных занятиях А. А. по утрам такое большое-большое необходимое дело, что от него зависит, быть может, судьба поэзии Блока, связанная с судьбой всего будущего. Серьезно-же мне это казалось порой тогда! И хорошо, что так казалось. И под всем этим поднималось опять тонкое, неуловимое веяние его строк «молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь». Мы руки и связывали, становились как бы братьями. И этот обряд побратимства происходил непрерывно в те дни в наших тихих совместных сидениях за чаем, в прогулках, в неторопливом «еще успеем наговориться». Мне впоследствии уже как воспоминание о шахматовских днях навеялись строчки: «пью закатную печаль — красное вино, знал, забыл, забыть не жаль, все забыл давно»; и далее — «говорю тебе одно, а смеюсь в другом». И точно: эти дни первого моего шахматовского житья отозвались во мне, да и не во мне лишь только (и в А. А.), как будто все тяжелое, прежнее, которое «забыть не жаль», кануло (оно и было, это тяжелое, с которым покончил я в Шахматове, давшем мне силу в своем покое). И когда я рисовал перед А. А. свои шуточные и легкие картины из московской хроники, мне казалось: «говорю тебе одно, а смеюсь в другом». Смеялся же я от легкой радости, что у меня есть такой милый брат и такая добрая сестра (да простит мне супруга покойного) и такая хорошая родственница (да простит мне Александра Андреевна), что к нам спешит Сережа, которого все мы любим, с которым мы все вместе (и А. С. тоже) когда нибудь «отлетим в лазурь»... А в какую лазурь? Где она?—В лазурь стези: «не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как стезя».

Ну не были ли мы, несмотря на всю сложность вопросов, глубинность восприятий, на всю, едва слышимую, грусть закатной печали наших будущих расхождений (до ужаса, до невозможности даже выносить факт бытия друг друга) — ну не были ли мы все же немного детьми: мы, мечтающие в то время о подвиге монашества, — А. С. Петровский, живший в посаде в одной комнате с Флоринским, я «декадентский ломака», А. А. «болезненный мистик» и наконец Л. Д. взрослая, трезвая замужняя женщина. И да — мы умели еще быть глупыми детьми, смешными, о до чего смешными (вот удивились бы

газетные рецензенты нам и, как знать, может быть рука их вооруженная пером, чтобы проткнуть нас в фельетоне, опустилась бы, и они вычеркнули бы не одну злую фразу)! И как хорошо, что мы были такими. И какое же спасибо за это Шахматову и хозяину нашему, ныне «великому русскому поэту», что он нас сумел так обласкать. А вот чем? Бывало встанет, подойдет, скажет просто свое: «пойдем Боря» — немного шутливо, чуть в нос, немного с насмешкой, приглашая во что-то такое «хорошее» поиграть, или что-то свое, особенное, показать. Отойдет — и скажет простое: «нет, знаешь, ничего, так», т. е. — «все так», «благополучно», «Главное» есть, а там развертывай это Главное. Пожалуй, действительно, будущему историку русской культуры в двадцать втором веке, французу Lapan, изображенному в шарже С. М. Соловьева, придется писать толстый том по вопросу о том, что это было — «детская игра», или «секта блоковцев», а в последнем случае: какова же была философия «блоковцев». А философию-то нужно было еще написать; до сих пор она не написана. Существуют лишь случайные проекты проспектов тогдашней загаданной философии, — и в моей «эмблематике смысла», и в статьях тома «Луг Зеленый», где аромат «зеленого луга» — лирические отзвуки шахматовских минут: в абзаце о душевных спорах, неуловимых переживаниях и в рассказе о том, что жива Катерина, душа русской жизни, жива, и что не убит пан Данило старым колдуном: Россия — большой «луг зеленый» — ясно-полянский, шахматовский. И ароматом этим жив я доселе. И семена этих трав, как знать, быть может еще проростают в Вольфиле, как проростали они здесь — там на протяжении этих шестнадцати лет, — но пана Данила уж нет: нет А. А. с нами!..

Возвращаюсь к фактам: они скудны. Помню, как в первый день нашего пребывания в Шахматове водворилась эта уютная обстановка меж нами, немного смущенная за обедом, когда семейство Софии Андреевны, в виде молодых людей, очень светских и, может быть, слишком корректных, вносило некоторую натянутость. Помню, что А. А. мне жаловался в тот день, что его двоюродные братья позитивисты (а это был не комплимент в устах А. А. того времени), но что это «ничего»: «они нам не будут мешать». Они жили своею особою жизнью, появлялись, откланивались, произносили несколько нарочито любезных и нарочито незначущих слов и нарочито тактично потом оставляли нас. А. А. утверждал, что они нас чуть-чуть презирают, смеются над нами и вместе с тем удивляются нам, за исключением глухонемого двоюродного брата А. А., понимавшего, мне кажется, по меттерлинковски, что «что-то хорошее» есть между нами

и проявлявшего порою удивительную чуткость к барометрическим колебаниям общей душевной обстановки. Помнится, в этот вечер, уже на закате, А. А., Л. Д., А. С. и я пошли на закат: по дороге от дома, пересекавшей поляну, охваченную болотами и лесами из «нечаянной радости», через рощицу, откуда открывалась равнина, за нею возвышенность и над нею розовый, нежно-розовый закат. Л. Д. в своем розовом платье цвета зари выделялась таким светлым пятном перед нами. А. А. сказал мне, протягивая руку—«а вот там Боблово».— «Я жила там» — сказала Л. Д., указывая на небо, сама цвета розового неба. Такою казалась она. И по другому, таким же зорным казался мне А. А. Даже розовое лицо Петровского (моложавое до неприличия, — двадцать три года, а выглядит восемнадцатилетним), в своей сплющенной шляпе и розовой рубашке, казалось мне тоже закатным. Вероятно, «мисты» мистерий Элевсина переживали сознательно нечто, смутным звуком чего было это стояние наше перед закатом, перед горою, о которой быть может А. А. было сказано: «ты горишь над высокой горою». Помнится, мы возвращались назад: А. С. отвел меня в сторону, мы отстали: в своей скромной шляпочке—кэпи он был и мил и смешон. У А. С. было особое свойство превращать все головные уборы — студенческий картуз, кэпи, шляпу с полями в нашлепку одной формы, почемуто напоминающую мне утку, что я сообщал ему многократно и с чем он соглашался. И до сей поры еще он, уважаемый музейный деятель, веснами, летами и осенями циркулирует по Москве, надев на лоб свою неизменную «утку». Раз в Базеле мы вместе с ним остановились на выборе головного убора. И тут: выбор его пал на шляпу, форма которой опять таки мне напомнила «утку». Так вот: А. С. остановил меня и, взволнованный чем то, сказал, запинаясь: «я теперь понимаю все это». А что? что? То-ли, что мы с С. М. Соловьевым называли шутливо «доктриной Lapan» и на что Е. К. Метнер подавал свою реплику: «помните, ваша худшая опасность в вашей статье «теургия». — Думаю, что А. С. понял то именно, что впоследствии сделало его антропософом, — его и меня, т. е. понял: проблему организации своего внутреннего пути («пока не станешь сам, как стезя»), в связи с организацией в «свой внутренний путь» внешних путей «общественности», т. е. проблему «мистерии», звук которой, далекий, извлекался какой то, нами тогда непонятой, атмосферой, не координируемой без подвига лет и неизбежно превращаемой в sui generis душевный сеанс.

В те дни это понимал лишь один А. А., т. е. он понимал смутно, как бы сквозь сон, понимал необходимость стези, первого

шага. Он, «нищий, распевающий псалмы», не знал этого первого шага, прислушивался к нам, что и мы такое из себя представляем, любил нас, но видел, что и мы ничего не знаем о первом шаге, а лишь импровизируем, и заранее не верил импровизации тут, боялся импровизации, боялся, что будет «к худу» именно оттого, что атмосфера нашего состояния сознания (моя, А. С. и С. М.) была слишком лучезарна: так слишком лучезарный день бывает обычно между двумя слезливыми и дождливыми. И тут уходил он куда то в свою молчаливую глубину от всех нас, становясь чужим. Помню, что раз, когда мне стало особенно хорошо, я стал тихий и молчаливый (бывают особые минуты молчания и тишины в минуту максимума душевной деятельности и активности, когда точно выростают крылья), он с улыбкой перегнувшись и глядя через плечо кого то сидящего рядом со мной, сказал ласково и убедительно: «ну, довольно, Боря». Так чуток до прозорливости он был в то время к неуловимым душевным движениям других. В этом «ну, довольно», — теперь для меня целая гамма знания о нем, об его трезвости, строгости, чуткости, настороженной пытливости, интеллектуальности.

Как же мне писать о тексте им произносимых речей того времени, когда одно «ну, довольно» открывает двери для целого размышления в духе Рэйсбрука или Эккарта. В А. А. того времени таилось нечто, о чем Метерлинк и не подозревал, а если бы подозревал, то не написал бы своих «Trèsors des humbles» — «Сокровищ смиренных», — не сокровищ и не смиренно написанных. Смиренномудр был А. А. того времени, ничего о мистике не написавший.

Вечером первого дня мы весело распивали чай. А когда А. А. провел нас с А. С. в отведенную нам комнату, и, побеседовавши с нами, пожелал нам спокойной ночи, то еще долго мы с А. С. не могли уснуть. Нам казалось, что мы уже в Шахматове давно. А. С. высказывал мне свои впечатления неоднократно, ложась и вновь поднимаясь с постели таким, каким я его видывал редко. Я смотрел за окно над деревьями скатывающегося вниз под угол сада, на горизонт уже нежно голубого неба с чуть золотистыми пепельными облаками, — там вспыхивали зарницы в «золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц». Словом, первый день нашего шахматовского пребывания прошел так, как если бы это было чтение «стихотворений о Прекрасной Даме», а вся вереница дней в Шахматове была циклом блоковских стихотворений.

Я не преувеличиваю своих впечатлений, читатель, скорее умаляю, чтобы не показаться на старости лет с «мухой» в голове.

Так же прошел и второй день. Никогда не забуду я этой линии тихих в своем напряжении и наростающих дней. Не забуду этой прекрасной в своей монотонности жизни, бурно значительной внутренне. Мы с А. С. медленно вставали у нас наверху, перекидывались впечатлениями, шутками и потом отправлялись вниз, в небольшую столовую, выходящую на террасу, к утреннему кофе, встречались с Александрой Андреевной, с которой всегда заводили интересный, умный разговор. В системе слов, обращенных ко мне Александрой Андреевной, было всегда нечто вопросительное,—точно она, уверовав с одной стороны в наши зори, с другой стороны сомневалась. Этим сочетанием веры и скептицизма Александра Андреевна напоминала мне покойную О. М. Соловьеву, свою двоюродную сестру. А. А. и Л. Д. появлялись к чаю позднее, часам к одиннадцати, и этот час от десяти до одиннадцати мы всегда проводили с Александрой Андреевной. А. А. и Л. Д. жили не в главном доме, а в уютнейшем, закрытом цветами маленьком домике о двух комнатах, если память не изменяет, в домике, напоминающем что-то о сказочных домиках, в которых обитают феи. Бывало, послышатся шаги их на ступенях террасы,—и вот, веселые, тихие входят А. А. и Л. Д., А. А. в неизменной русской рубашке, Л. Д. в розовом, падающем широкими складками платье-капоте. Разговор становится проще, линия разговора меняется: определенные разговоры, которыми мы были заняты, расширяются в неопределенное море той спокойной, немного шутливой глубины и ширины, которые всегда чувствовались в этой супружеской паре. У нас с А. С. было впечатление, что «межа» разговора с Александрой Андреевной, обрамленная гранями того быта и той эпохи, переходила в «безбытное и вечное» «золотое бездорожье»: ведет к бездорожью золотая межа». Наши сидения по утрам во-истину переходили в золотое бездорожье у берега какого то моря, через которое вот-вот придет корабль (для меня Арго) и увезет всех через море в Новый Свет. Очень часто мы переходили в соседнюю комнату, просторную, светлую, обставленную уютною мягкою мебелью. Л. Д. садилась с ногами на диван, мы располагались в креслах. Я очень часто, стоя перед ними, начинал развивать какую нибудь теорию, устраивая импровизационную лекцию. В сущности вся линия моих слов, теорий и лекций была не в убеждении присутствующих, а в своего рода лакмусовой бумаге, окрашивающейся то в фиолетовый, то в ярко-пурпурный, то в темно-синий цвет. Ткань моих мыслей А. А. умел распестрить всеми оттенками отношений: юмором, молчанием, любопытством, доверием. «А знаешь, Боря, я всетаки думаю, что это не

так», или «а все-таки Валерий Яковлевич математик» и т. д.—и нужная реакция происходила: лакмусовая бумажка окрашивалась,—в первом случае мягкое «не так» становилось поперек моим мыслям, я знал уже, что натолкнусь на глубочайшее упорство А. А., которого не преодолеть годами (оно и не преодолевалось), во втором случае «а все-таки Валерий Яковлевич математик», накладывалась резолюция на весьма сложное всех нас отношение к В. Я. Брюссову, который в те годы всеми нами признавался единственным вожаком декадентства, соединявшим в себе талант поэта, эрудицию историка, сознательность техника и который был в то же время единственным поэтическим «метром». Вяч. Иванов, живший тогда заграницей, только временно блеснул своим появлением в Москве. Бальмонта в то время мы не особенно ценили; в Гиппиус, которую А. А. и я ценили как поэтессу, А. А. особенно подчеркивал ее религиозно-философские интересы, для нас той эпохи «ветшающие», а для Александры Андреевны, С. М. Соловьева и А. С. Петровского и по существу сомнительные. Таким образом В. Я. Брюссов был фигурой для нас во всех смыслах нас интересовавшей. Кроме того, Брюссов девятьсот четвертого года и Брюссов теперешний—два полюса. Тогда дарование его росло и контуры этого дарования увеличивались. Достижения его «Urbi et orbi» согласно увеличивались: они казались больше, чреватее будущим,—так в утро туманное кажутся нам выше контуры гор, но взойдет солнце и «огромные» далекие горы окажутся близкими и не столь внушительными холмами. Так и «Urbi et orbi», этот внутренний холм, даже гора среди низин бывшей современности (по сравнению с Надсоном, Минаевым, Мережковским, Лохвицкой, Фофановым и даже Бальмонтом, казался вершиной недосягаемой в 1904 году). Брюссов представлял собой интереснейшую фигуру. В ней не было ничего академического: четкость, сухость, формальность всех достижений не стали еще брюссовской «академичностью», а методом, маскою, под которой пытливый ум большого человека высматривает себе стези и пути, нащупывая эти стези на всех путях жизни. В. Я. Брюссов в то же время был единственный из поэтов, усиленно интересовавшийся магией, оккультизмом и гипнотизмом, не брезговавший никакою формой их проявления, одинаково склоненный перед Агриппой Неттесгеймским, им изображенным в романе «Огненный Ангел» посещавший усердно сомнительные спиритические кружки, пробуя свои силы, может быть, и практически, где можно, «гипнотизируя» (в переносном и буквальном смысле). Он порою казался нам тигром, залегающим в камышах своего академизма, чтобы неожиданным

прыжком выпрыгнуть оттуда и предстать в своем, ином, как казалось, подлинном виде: «Черным Магом». И, подобно тому, как я, только что написавший статью о теургии, считал, что поэзия должна стать теургией, т. е. божественной и жизненной одновременно, так этому направлению должно было противостать другое пресуществление поэзии в «Черной Магии». К декадентству, как к таковому, мы все относились отрицательно,—считали, что под маскою декадентства крепли «черные силы» за-декадентовской линии магической поэзии, которая была нам так враждебна, которой яд вынашивал жизненно Брюссов под личиной измеряемых и точно взвешиваемых форм. В этом смысле Брюссов был для нас всех магом, для одних в серьезном смысле, для других в аллегорическом: не даром А. А. назвал его раз мне «великий маг моей земли». Да, Брюссов в эти годы считался определенно «великим» мною и С. М. Соловьевым. А. А., любя поэзию Брюссова, как таковую, допуская магизм ее, однако никогда не переоценивал Брюссова, провидя в Брюссове, скончавшегося лет одиннадцать до физической кончины А. А. и потому то фраза—«а все-таки В. Я. математик» в то время означала одно—маска форм приросла к Брюссову настолько, что все иное живое под ней, чем бы оно ни было, хотя бы магическим ядом, есть лишь «аллегория формы». Математиком же назвал А. А. Брюссова, если не ошибаюсь, под впечатлением моего рассказа о нем [1]). Действительно, своеобразная точность выражений Брюссова того времени не раз обращала мое внимание. Я помню, что я возмущался однажды избиениями студентов в Москве,—В. Я. сказал: «да, это печально, но вспомните, что проделывают теперь на войне: на войне, Борис Николаевич, прокалывают, т. е. вводится штык в тело, сначала прокалывается верхняя одежда, потом нижняя, потом штык холодный касается тела, потом прокалывается кожа, потом прокалывается брюшина, кишки, и штык вводится внутрь». С. М. сделал открытие: да ведь Брюссов «математик»—он все измеряет и взвешивает. Действительно, В. Я. однажды воскликнул: «я ужасно люблю все, что касается математити». Такое восклицание Брюссова «математити» стало для нас своего рода словечком. Поэтому выражение А. А. о том, что Брюссов «только математик» было, собственно говоря, безапеляционным при-

---

[1]) В 1903 году, когда мы с С. М. были у В. Я. Брюссова, он нам однажды объявил: «завтра я ложусь на операционный стол и предаю мое тело сверлам и пилам»—ему должны были делать операцию, продолбить что-то в верхней челюсти. С. М. много смеялся по этому поводу, отмечая стиль выражения—точный и измеривающий.

говором течению, которое в то время многие из нас преувеличивали, хотя бы в том смысле, что ждали выхода из него опаснейших для наших чаяний врагов (враги оказались лишь «мелкими бесами»).

Так А. А. окрашивал одной фразой свое отношение к тому или другому философскому, религиозному, или эстетическому вопросу, а я бессознательно давал ему повод к окраске, проталкивая перед ним различные ткани из теорем, утопий и домыслов. Отсюда явствует, что он был для меня в то время своего рода окраской моих устремлений, давая мне оценку и импульс. Я считал себя «теоретизирующим для внешних» то, что жило сокровенно в его глубине. И тут то вот натолкнулся я на невероятное молчание Блока. Забегая вперед и строя схемы в пункте переживаний, неясных А. А., в пункте, где у него происходил молчаливый конфликт с пониманием зорь, которые ему так недавно светили и относительно которых по закону внутреннего развития он уже себя ощущал не «герольдом» будущего, а «нищим, распевающим псалмы», характерно: среди отметок А. А. к моим «Запискам чудака» (№№ 2 и 3) отчеркнуты слова о вредности и нежелательности закрывания схемами мысли еще не ставшего ясным духовного переживания. Всем существом своим А. А. уже стоял на этом. Он делал различие между миром душевным и миром духовным и, признавая зависимость первого от второго, хотел испытать качество первого вторым. Он был духовно одинок. Я—тоже. Но он сознавал это, а я—нет, или старался делать вид—нет. Я протягивался к душевности, я разводил туманы душевности, я погрузился без остатка в ту прекрасную атмосферу, которая господствовала между всеми нами тогда и которая не удовлетворяла уже А. А. Он бессознательно волил к общности душевной, построенной на встрече сокровеннейших духовных переживаний и выведенных оттуда. Мы довольствовались глубинами душевных переживаний, где господствовала уже «Незнакомка» вместо «Прекрасной Дамы», Зари Купины. И тут я наталкиваюсь на толчки, исходящие извне неведомого духовного мира А. А., который после того, как все было между нами сказано, понято без слов, вдруг темнел и грустнел, и порою казалось, что чем радужнее и дружнее было нам вместе, тем черней и безысходней вдруг порой на мгновенье становилось ему. И я переживал это как испуг: я думал,—чего Блок пугается? Признаюсь, раз промелькнула у меня малая мысль—подлинно ли светел Блок? И у А. А. бывали такие минуты колебаний во мне: помню, что С. М. Соловьев впоследствии передавал мне, как Александра Андреевна ему признавалась о словах А. А. обо мне им сказанных

вечером после одного из тех непередаваемо близких сидений, когда мне казалось, что всем так светло, когда я и сам казался себе светлым и добрым,—А. А. с сомнением, даже с испугом сказал обо мне: «кто же он такой, не пьет и не ест?» Этим «не пьет и не ест» хотел он подчеркнуть ему казавшийся аскетизм моих устремлений, или вернее форсированную чрезмерность моих устремлений, обреченных для А. А. на крах, ибо по моим наблюдениям А. А. считал меня отнюдь не «глашатаем» истины и путей, а человеком в истинном, конкретном смысле обреченным на все человеческие слабости, не принимающим этих слабостей теоретически и уже впавшим в ему невидные человеческие слабости. Он видел горькое разочарование мое в том, что было для меня «каноном спасения», разочарование, способное внести сумятицу и путаницу для всех нас именно на тех путях, на которые я приглашал как бы вместе А. А.,—т. е. на путях «синего ока», о котором он сказал—«не увидишь синего ока, пока не станешь сам, как стезя». Своим недоумением обо мне «не ест и не пьет» он хотел высказать мысль: «неужели он стал, как стезя»—а это значило: «неужели он серьезно думает, что он стал как стезя,—он горько ошибается». На эту мою ошибку и хотел повернуть меня порой А. А., как на нашу общую ошибку, ибо он видел, что С. М. ошибается в своих теократических гипертрофиях и в своих истолкованиях духовного мира А. А.

Помню, раз, именно после нашего сидения в гостиной, А. А. взял бережно меня под локоть и повел невзначай в сад, а потом в поле. Мы шли медленно, часто останавливались: А. А. стал говорить о себе, о своих свойствах, о своей «не мистичности», о том, какую роль в человеке играет косность, родовое, наследственное, как он чувствует в себе эти родовые именно силы и о том, что он «темный». И, помнится мне, впервые тогда прозвучала в нем нота позднейшего «возмездия». Я отмахнулся от этой ноты. Помню, я был растерян и беспомощно глядел в сине-знойное июльское небо,—и небо мне казалось черным [1]). Черное небо выступило на мгновение передо мной, а А. А. мне сказал, что он вообще не видит в будущем для себя света, что ему—темно, что он темный, что смерть, может быть, восторжествует («нам открылось—мертвец впереди рассекает ущелье»). Эти слова меня застали врасплох—до такой степени они не соответствовали всему тому, что стояло, как атмосфера, между нами. И я

[1]) Впоследствии А. А. очень понравилось, как я в «Серебряном Голубе» описывал впечатления Дарьяльского о небе, которое из голубого вдруг становится черным.

понял, что и эту атмосферу А. А. рассматривает не как налет духовных зорь, а как своего рода медиумический сеанс, в котором все душевные образы «ангелов» могут, как знать, обернуться «чертями» [1]). Помнится, в этот вечер мы долго говорили с А. С. Петровским и он сказал мне: «неужели и А. А. сгорел». Этим он хотел сказать, что разочарование, в котором внутренно пребывал и А. С. Петровский, и я (я во многом разуверен был о близости новой эпохи, А. С. в его чаяниях обновления церкви), коснулось и А. А. Для всех нас духовно переживающих «кризис» чаяний, было важно создание душевного верного коллектива: общения душ мы искали с одинаковой страстностью,—мы «меньшевики», а А. А. «максималист» — реалистично и трезво видел и себя и нас из своего духовного одиночества. Мы отмахивались от этого одиночества, и этот стиль отмахиванья от сомнений вводил в наше тогдашнее общение бессознательную ноту борьбы с «духом сомнений» А. А. Но все это протекало где то в молчании: бездна разочарования была нами сознательно заплетена в розы общения, в розы душистых, ясных, тихих шахматовских дней, где и тени и свет переживались, как эпизоды какой то нами водимой мистерии. Увы, А. А. в этом уже тогда провидел некоторую взвинченность, театральность и душевный «байрет», столь отталкивающий Ницше от Вагнера. Дело в том, что на Шахматово мы смотрели как на своего рода будущий «Байрет» Блока-Вагнера, а «Вагнер-Блок» Вагнером себя не чувствовал, а чувствовал себя Ницше, борющимся с стремлением его друзей создать вокруг его одинокой души русский Байрет.

Я останавливаюсь на всех этих нюансах наших отношений друг к другу потому, что в них своеобразно очерчивается личность А. А., для всех автора «Стихотворений о Прекрасной Даме», а на самом деле уже автора «Нечаянной Радости», прозвучавшей таким «отчаянным горем». Мы его стилизовали в его, уже безвозвратно уходящем мире, эгоистически, для себя, ибо нам, чувствующим себя разбитыми во многом, нужно было иметь «знамя зари»—и им был для нас А. А.

Помнится, время от чая до завтрака протекало в беседах, переходило в беседы за завтраком и после завтраков. Часам к трем мы шли или гулять в поле, в лес, вдвоем, втроем, вчетвером, или расходились до обеда — я с А. С., а А. А. с Л. Д. шли в свой маленький домик. К обеду опять сходились, опять сидели до вечернего чая и

---

[1]) Отсылаю к приведенному мною письму о недвижности, неизменност Ее и метаморфозе образов Астарты.

оканчивали день на террасе, освещенной мягкой, ясной луной. А. А. и Л. Д. водили нас по дому ласковыми хозяевами, и мы не знали, как их отблагодарить за ласку. Помнится, раз мы гуляли у пруда церкви, обросшей кувшинками: из усердия собрать букет из них, А. С. Петровский прямо с сапогами вошел в воду.

С. М. все не приезжал, и мы уже собрались уезжать из Шахматова, когда раз после обеда, накануне нашего отъезда, раздался звон бубенчиков, и подкатила тележка, из которой выскочил радостный и бурный С. М. в студенческой тужурке (он только что кончил гимназию), загоревший и возмужавший, и заполнил остаток дня шумом, гамом, хохотом, импровизациями, рассказами о своем пребывании в имении гимназических друзей, где собрались его товарищи. У С. М. были тогда легкие платонические очередные «увлечения для стихов» (т. е. увлечение той или другой барышней оканчивалось очередным сонетом), о которых сам он комически рассказывал, веселя А. А., провоцируя его на шутки. Было решено, что для С. М. мы с А. С. останемся еще на несколько дней. Атмосфера наших зорь была изменена нотою, которую вносил всюду с собой С. М., нотою «теократии» и «философии» соловьевской мистики. Роль теоретика наших устремлений занял он: я ему уступил. После-чайные разговоры сменились разговорами после завтраков, в которых С. М. импровизировал своего мифического француза Lapan—одновременно и Гегеля и историка будущего, долженствующего написать философию наших чаяний и историческое исследование, выводящее эти чаяния из секты блоковцев, существовавшей за два столетия до него (Lapan — француз двадцать второго века). Иногда француз Lapan сменялся пародией в стиле Кузьмы-Пруткова, которую, к величайшему удовольствию А. А., учинял С. М. Так, например: не обладая никаким внешним слухом и обладая, однако, способностью подчеркнуть характерное в музыке и в сценах «Пиковой Дамы», он проводил перед нами «Пиковую Даму» в сценах шаржа, гротеска, изображая и оркестр, и Германа, и Лизу, и Томского. Особенно ему удавалась баллада «однажды в Версале о jeux de la reine», квинтет «Мне страшно» (в котором С. М. был и оркестром, и Германом, и Лизой, и князем, и Пиковой Дамой) и «Прости, небесное созданье» в исполнении Фигнера. Мы покатывались со смеху. Я в свою очередь начинал рисовать карикатуры, утрируя свое неумение рисовать, изображая Брюссова в роли великого человека и нас всех в наших ролях «секты блоковцев».

Эти бурные веселые последние дни не мешали тихой сосредоточенности, в которой мы пребывали. Вопреки многому неясному, я

чувствовал себя все более и более братом А. А. и мне было особенно приятно один день походить в его рубашке, вышитой лебедями (не знаю, отчего мне ее дал А. А., — кажется, — я не захватил с собой достаточно одежды, не думая, что мы так застрянем в Шахматове). Это хождение в одежде А. А, было как бы символом нашего побратимства в эти дни.

Я уезжал из Шахматова окрепшим и принявшим решение покончить с одним жизненным обстоятельством, весьма тяжелым, которое я нес в себе, как падение, слабость, срыв. Об этом обстоятельстве открыто я не говорил с А. А., но он знал о нем и в его молчаливом обращении была братская просьба покончить с этим обстоятельством.

Помню, что утром перед отъездом мы сидели все вместе. В последние минуты мы испытывали грусть, — грусть, что кончается эта жизнь вместе. И было что-то в этой грусти от «горней радости». Подали лошадей. А. А. и Л. Д. стояли у подъезда. Нам казалось, что из некоего мира, где мы себя ощущали «будто мы в пространствах новых, будто в новых временах», мы двинулись в старый мир.

Молча, сосредоточенно ехали мы трое в Москву, и была между нами троими серьезность и тишина, точно кусочек шахматовской атмосферы, розово-золотой воздух в последний раз ощущался в эти годы. Было чувство, что впереди стоит сознательное и трезвое проведение в жизнь наших идеалов, что период романтизма закончился, что надвигается большое чреватое событиями будущее. На другой день в Москве мы прочли об убийстве Плеве, бывшем в день нашего отъезда из Шахматова. И почему то это совпадение нашего отъезда с днем убийства врезалось в память, точно сказалось — ага, вот оно, началось. А что началось? Не знаю... Начался наш путь конкретной переработки жизненной Майи, началась борьба с Майей.

Поннится, что в вечер по приезде мы собрались на новой квартире С. М., где-то в переулке между Поварской и Арбатской,—я, А. С. и С. М., у него был Н. С. Щукин, называемый С. М. Ваней Щукиным, который привез ему в подарок из Италии изображение Мадонны. Смешно сказать (да простят мне С. М. и А. С. это разоблачение нас в нашей детской глупости): тайком от Щукина мы возжгли ладан перед Мадонной в соседней комнате, чтобы осветить символ наших зорь, связанных с шахматовскими днями, и при этом очень боялись, что Ваня Щукин в соседней комнате ощутит явственный запах ладана.

IV

ПЕТЕРБУРГ.

Со второй половины 1904 года до первых чисел января 1905 г. мы мало переписывались с А. А. Вышла первая книга стихотворений, его «Стихов о Прекрасной Даме». Читатель мог бы заметить, что книга разрешена цензурой в Нижнем Новгороде. Мы боялись, что московская цензура придерется к тем или другим строкам, как к подозрительным с религиозной точки зрения, между тем, Е. К. Метнер, большой почитатель А. А., стал ошибкою обстоятельств цензором в Нижнем Новгороде, — мы и отправили рукопись стихотворений в Нижний Новгород. Этим и объясняется, почему книга, вышедшая в Москве, разрешена цензурою в Нижнем Новгороде.

Осенью 1904 года я поступаю вновь в московский университет на филологический факультет (естественный я кончил в 1903 г), оказываюсь на одном курсе с С. М. Соловьевым, будущим поэтом В. Ф. Ходасевичем, Б. А. Садовским, В. В. Миландером, философом Гордоном, Б. А. Кривцовым и др. Университетские занятия мало отнимали у меня интересов и времени: интересовал лишь семинарий у С. Н. Трубецкого (по Платону) и у Л. М. Лопатина (по Лейбницу). Большое внимание занимал кружок по изучению Влад. Соловьева (участники: А. Б. Свенцицкий, Эрн, С. М. Соловьев и др.), секция истории религии при обществе Трубецкого и, главным образом, «астровские среды», на которых произошла встреча аргонавтов моих московских воскресений с группой людей, собиравшихся у Н. И. Астрова. Результатом этих встреч было два сборника нелепой «Свободной Совести», издаваемой Астровым. Ядро сред составляли: П. И. Астров, его мать, Шкляревский, учитель гимназии, старый художник Астафьев, Эллис, я, Эртель, Рачинский, Сизов и др., а в периферию вошли почему то часто появляющиеся там московские мировые судьи, а также Н. И. Астров, В. И. Астров, А. И. Астров, Эрн, Свенцицкий и др. Появились в том кружке разнообразные лица, как, например, проф. В. Х. Озеров, имевший собеседование с нами на тему «символизм и общественность». Позднее на этих средах бывали: В. И. Иванов, Н. А. Бердяев, профессора духовной академии. В 1908 г. Боборыкин читал здесь свой реферат о Леониде Андрееве. Темы собраний астровского кружка 1904 — 05 годов были самые разнообразные. Вот некоторые из них: я прочел здесь «апокалипсис русской

поэзии», «психологию и теорию знания», Эллис читал «о Данте», М. И. Сизов — «лунный танец философии», М. А. Эртель «об Юлиане», Шкляревский «о Хомякове», П. И. Астров «о Дарвине», «о Г. С. Петрове и т. д. Здесь впервые произошла встреча московских аргонавтов стой струей общественности, которая впоследствии вылилась в кадетскую партию. Здесь же оба эти течения, «кадетство» и «аргонавтизм» уже в 1905 году разошлись: «аргонавты» в общественном смысле оказались безмерно «левее» «Свободной Совести», они сочувствовали революционным партиям и смеялись над октябризмом и кадетизмом. Это расхождение в общественности не нарушало добрых отношений с братьями Астровыми, которые быстро «левели» в своих литературных вкусах, поддаваясь эллисовской пропаганде символизма. Связь «арго» долго еще оставалась между всеми нами. И аргонавтов и астровцев соединяла проблема морального сознания: и те и другие были чужды имморализму господствующих течений литературы. Астровский кружок играл довольно видную роль в нашей жизни того времени, но каждый порознь не удовлетворяется им. С. М. Соловьев пробует дружить с кружком Свенцицкого, я же общаюсь с неокантианцем Б. А. Фохт. Во мне складывается определенный мой шаг: от обоснования символизма при помощи Ницше, Шопенгауэра, Вагнера к обоснованию при помощи Канта-Риля-Риккерта. Риккерт тогда только начал заинтересовывать философские кружки Москвы.

Эта броня из «кантианства» на зорях прошлых лет есть следствие многих горестных разочарований и внешнего факта, что строчки А. А., обращенные ко мне—«понял, что будет темно», — осуществились для меня.

В эти месяцы происходят мои очень частые встречи и разговоры с В. Я. Брюссовым, носящие характер той остроты и напряженности, какою отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюссовым носил один характер: я утверждаю — «свет победит тьму». В. Я. отвечает: — «мрак победит свет, а вы погибните». Помню один характерный разговор мой с Брюссовым, когда В. Я воскликнул с совершенно искренним пафосом: «что же, Борис Николаевич, ведь в Апокалипсисе сказано, что гад будет повержен в смерть. И так: вы против Гада, против слабейшего? Мне—жаль гада, бедный гад, я – с гадом!» Свою «гадологию» того времени В. Я. Брюссов утверждал вплоть до защиты психологии «гадости» с проведением Гада в жизнь. Все эти встречи и отношения 1904 года вызывали в душе моей густой, непроницаемый туман, сгущавшийся от грозного

рокота приближающейся революции 1905 года, которая уже чувствовалась.

Словом, к концу 1904 года я был и нервно и физически измучен. В то время я получал частые приглашения от Мережковских приехать к ним в Петербург. С другой стороны звал меня и А. А. После одного очень грустного письма я получил телеграмму от А. А. и Л. Д. вместе настойчиво меня звавших в Петербург. Я поехал вместе с матерью моей, желавшей проведать свою петербургскую подругу. Мы уезжали в день усиливающейся как лавина всеобщей петербургской забастовки и прочли за день до отъезда о роли Гапона в ней. Восьмого января приехали мы в Петербург: девятого января утром прибыли, — в знаменательный день, окончившийся избиением рабочих. Помню, что мы с матерью разъехались в разные стороны с вокзала — она отправилась к своей подруге, я к знакомому офицеру, гостеприимно предоставившему мне у себя в квартире приют. Проживал он в казармах лейб-гвардии гренадерского полка на Петербургской стороне. Я с большой готовностью согласился на это гостеприимство: в том же доме, чуть ли не в том же каменном проходе находилась и квартира отчима А. А., полковника лейб-гвардии гренадерского полка. Возможность видеться с Блоками, жить рядом с ними, особенно привлекала меня.

Помнится, как поразил меня вид улиц: еще на Николаевском вокзале парикмахер, бривший меня, сообщил, что сегодня все рабочие пойдут к царю с требованием их принять, что они правы, что дольше жить так нельзя. Тон этих слов лежал на всем, — на том, как прохожие оглядывали друг друга, чувствовалось что-то чрезвычайное; полиции нигде не было видно; отряды солдат, поскрипывающие по морозу, тащились с походной кухней, дымя в мороз. Все это поразило меня на Литейном Мосту. Наконец я был в гренадерских казармах. Отыскав квартиру офицера, я узнал от денщика, что помещение мне готово, но что их высокоблагородие извиняются, — они на службе. Казармы, как тотчас же я узнал, были пусты, — полк был отведен и расставлен в виде небольших отрядов по всему Петербургу. Умывшись с дороги, я тотчас же отправился к Блокам и нашел их всех (Александру Андреевну, А. А. и Л. Д.) в сильном волнении. Я не запомнил, как мы встретились — А. А. провел меня в столовую к завтраку и я попал в цепь разговора о петербургских событиях, сильно волновавших Блоков. А. А. и Александра Андреевна были в революционном настроении. Александра Андреевна беспокоилась за мужа, вынужденного долгом службы защищать какой-то мост и вместе

с тем с глубоким отвращением относившимся ко всем видам репрессий [1]). Александра Андреевна беспокоилась, придется или не придется Ф. Ф. встретиться с рабочими. А. А. более волновался тем, что будут расстрелы и выражал свое возмущение и негодование по адресу правительства, превращавшего манифестацию в восстание. Приходили смутные слухи о том, что огромные толпы рабочих шли к царю, что были уже столкновения. Я недолго пробыл у Блоков, отправился к Мережковским, у которых застал целую ассамблею людей, волновавшихся событиями. Были точные известия о расстрелах, слухи о смерти Гапона. Помню, что у Мережковских я застал философа студента Смирнова, Е. Г. Лундберга (с которым мы говорили о хаосе, приехал с бригад Васильевского Острова Минский) и рассказал точно о происходящем. Помню, после обеда мы втроем,— Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и я отправились к Д. В. Философову и оттуда попали на знаменитое ныне собрание Вольно-Экономического общества, где обсуждалось положение вообще Петербурга, раздавались призывы к вооружению, деланию бомб и указывалось, что движение в Петербурге революционное, а отнюдь не поповское. Общее впечатление этого собрания—растерянность перед неожиданным размахом событий. Помню, что Мережковский исчез куда то [2]) Я остался один. В этой пестроте и шумихе я встретил К. И. Арабажина (отдаленного свойственника) и чуть-чуть не решил переночевать у него. Помню, как сквозь туман появление взволнованного Горького и переодетого бритого Гапона, которого тогда никто не узнал и который хриплым голосом восклицал: «нам нужно вооружаться». В этом смятении и шуме я потерял из вида А. И. Арабажина и не помню, как очутился на темных, пустынных улицах Петербурга, не охраняемых полицией, полных зловещей тьмы. Только багровые вспышки костров на морозе и тяжелая поступь патрулей нарушали тишину. Кое-как добрался я до гренадерских казарм и нашел их запертыми. Часовые не пропускали меня. Напрасно я указывал на то, что остановился у офицера—я был отрезан от казарм и мне предоставлено было провести ночь блуждая по морозным улицам Петербурга. Вдруг появился обход с офицером, которому я и объяснил

---

[1]) Франц Феликсович Кублицкий-Пиотух от всего нашего с ним общения, оставил впечатление нежнейшего, чуткого, прекраснейшего человека, деликатного до щепетильности; он и ходил и сидел с таким видом, будто боялся невзначай обидеть кого-нибудь или задеть что нибудь.

[2]) Д. С. Мережковский был с каким то присяжным поверенным делегирован закрывать Мариинский театр в знак национального траура.

свое положение. Этот офицер оказался полковником Коротким, в будущем, кажется, московским полицмейстером, или чем то в этом роде, снискавшем себе печальную известность в Москве. Короткий весьма ажитированно заявил мне: «хорошо, я вас пропускаю, но, помните, казарма пуста, к ней идет толпа рабочих и, впуская вас, я должен вас предупредить, что вы подвергаетесь всем опасностям возможной осады». С этим напутствием он меня пропустил и я, перегруженный впечатлениями дня, наконец, добрался до своего вынужденного обиталища, которое уже тогда, в виду своего настроения, решил покинуть, перебравшись в квартиру Д. С. Мережковского, который гостеприимно предоставил мне свою спальню. Нисколько не беспокоясь об ужасах возможной «осады» я проспал, как убитый, и на другой день уже с утра очутился у Блоков, где рассказал обо всем виденном и слышанном вплоть до последнего инцидента с Коротким. Тут А. А. улыбнулся тою шутливою улыбкою, которая ему была свойственна, и сказал мне: «а, знаешь, он трус—вчера вечером он устроил переполох, бегая по офицерским квартирам и пугая офицеров и их семейства ужасами «осады». И разговор перешел на мне знакомого офицера, которого я знал с детства и который принадлежал к семейству, отличительной чертой которого была «импровизация». Открылся один миф этого офицера об имении с оранжереями, которого, будто бы, обладателем он был, имении, в котором я живал, и которое не имело никакого отношения к офицеру. Мы с А. А. весело шутили на этот счет. Александра Андреевна выглядела спокойнее: ее мужу не пришлось пока участвовать в столкновениях войск с рабочими, его отряд стоял в этом смысле в благонадежном месте. Тут же я познакомился и с супругом Александры Андреевны: это был худой, некрасивый военный с прекраснейшими глазами. Он скромно появлялся за стол, скромно садился и молча выслушивал наши полные негодования речи. Я помню, что я старался быть умеренным, входя в трудное щекотливое положение Франца Феликсовича, а А. А. наоборот: выражался кратко, резко и беспощадно вплоть до несочувствия лицам, вынужденным хотя бы грубою силою поддерживать правительство. Помнится, мне было жаль бедного Франца Феликсовича. Вообще я заметил в А. А. некоторую беспощадность к его трудному положению в ту эпоху.

Эти первые дни моего пребывания в Петербурге я мало воспринимал общение с А. А. Мы все переживали события этих дней, толковали об арестах знакомых, о переменившемся отношении к царю со стороны тех, кто девятого января еще сочувствовал самодержавию.

Кроме того я был слишком занят все увеличивающейся близостью с Мережковскими. У них я жил, проводя ночи напролет в непрекращающихся разговорах с З. Н. Гиппиус на религиозно-философские темы у ее камина, помешивая железной кочергой с треском рассыпавшиеся уголья и прислушиваясь к поздним звукам (мы ждали, что Д. С. Мережковского арестуют за его участие в закрытии театра, — он был об этом предупрежден). Наконец целый ряд лиц, с которыми я впервые познакомился, заняли все мое внимание. Это было время первых встреч и бесед с Ф. К. Сологубом, В. В. Розановым, Н. А. Бердяевым, Н. С. Булгаковым, А. С. Волжским, А. В. Карташевым, Л. А. Тернавцевым, А. Н. Бенуа, Бакстом и целым рядом деятелей искусства и пера. Естественно, что я был перегружен впечатлениями и временно несколько рассеянно относился к моему общению с А. А. Шумные воскресные вечера у Розанова, монотонные у Сологуба, воскресные чаи у Мережковских от четырех до семи: собрания, в которых объединялась группа «нового пути» с тогдашнею группою «проблем идеализма», и та интенсивная с одной стороны религиозно-философская жизнь, с другой религиозно-общественная, которую развивали Мережковские, — вот, что поглощало меня, тем более, что в ту пору моя трехлетняя переписка с Мережковским, прерываемая редкими, личными и очень интимными днями встреч в Москве, перешла, можно сказать, в совместную жизнь, в то, событиями взволнованное время. Что меня соединяло с Мережковским, в том именно не соприкасались мы с А. А.; ему была гораздо более чужда историческая проблема религии в ее отношении к новой христианской эпохе. Он всегда стоял несколько вдали от того специфически христианского гносиса, который выдвигала проблема конкретного восприятия логоса. Можно было сказать, что логос воспринимал он лишь сквозь ризы Софии, Той, которую он осязал в эпоху своих зорь. Вся линия устремления Мережковского была линией выявления Христова импульса. Потому то Мережковский и упирался всем центром своих устремлений в проблему исторической церкви, в проблему критики и оценки. Для А. А. не существовало этой проблемы. В своих религиозных чаяниях он был более катастрофичен, а в своем ощупывании ему самому не до конца понятного нового веяния он был более физиологичен и эмпиричен, отправляясь от данного, внутри осязаемого, которое гораздо труднее измерить и взвесить, чем, например, историческую проблему. А. А. как будто отрывал все хвосты исторического познания и волил к такому духовному опыту, который был бы проницаем всегда здесь, нами, безотносительно к тому, как он мог

выглядеть в истории. Для физика, химика, возможность произвести опыт во всякое время есть боязнь убедиться в том, что его наука есть действительно точная, а история, зависящая от субъективных свидетельств, для него не была уже точной наукой.

А. А. в темпе своих исканий как бы бессознательно стремился к точному духовному знанию, не распыленному домыслами, а Мережковские, смешавшие опыт, с казавшимися ему схоластическими схемами, были чужды, абстрактны и не приемлемы для Блока. В этом разрезе взятый А. А. так относился к устремлениям Мережковских, как какой нибудь Гельмгольц к устремлениям гегельянизирующего историка, вплетавшего в факты истории отжившую метафизику. И А. А. был безусловно прав. Мережковские глубоко не понимали фактичности, реальности, трезвости, с которой относился он ко всем оформлениям новой эры. Но были правы и Мережковские с своей точки зрения: не понимая физиологичности, фактичности, опыта миросознания А. А., не доверявшего словесным схемам; они видели в устремлениях поэзии А. А. мистику, субъективизм и неоформленный логосом хаос, способный подменить подлинный опыт в сплошной медиумический сеанс и всякую общину, построенную на такой мистике, они обвиняли в подмене истинно-христианских начал радением, хлыстовством. Поскольку проблема конкретизации опыта и проведение его в жизнь была моей центральной проблемой, постольку я разрывался между Мережковскими и Блоками, и этот разлом я нес мучительно, понимая правоту и неправоту обоих возможных форм выявления нового сознания, нового коллектива, новой жизни. Вот что меня сближало с Мережковскими: «Христос, история, проблема новой церковности, ясное членораздельное слово, желание, «последнее» провести сквозь строй «предпоследнего», к первому шагу, хотя бы этот первый шаг выражался весьма приблизительно. Наоборот, с Блоком меня связывали следующие темы: София, Вечность, Вневременность, Молчание, проблема мистерии, т. е. организации коллектива, проростающего в общественность из подлинной организации опыта, музыкальность, неизреченность, нежелание распылять «последнее» заезжанными словами и суетой мыслительных ассоциаций, — наконец, личная дружба и большая, я бы сказал, непосредственная любовь и доверие к тому, что мы называли Главным. Все это соединяло А. А., Л. Д., С. М. Соловьева и меня.

Таким я себя застаю в то время. Моя жизнь и непрекращающееся сближение с Мережковскими делают мне лично достижимым общение с коллективом друзей, в который я попадаю и к которому

я подготовлен нашей трехлетней перепиской с Мережковским. Ядро этого кружка: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, З. Н. Гиппиус, Т. Н. Гиппиус, Н. Н. Гиппиус, А. В. Карташев и близкий к ним проф. Успенский, В. А. Тернавцев, Н. А. Бердяев, заглядывающий в эту сторону, А. С. Волжский.

Но в этом новом коллективе я чувствую одно время некоторое насилие, принужденность, отсутствие свободы, обязанность вместе с Мережковскими выполнять функции их религиозной общественности. Они мне как бы говорят: «вы наш, ваш опыт — наш опыт». А я чувствую, что это правильно, но лишь на половину, что они не понимают того главного, музыкально нежного, в чем я всегда встречал понимание в А. А.

Единственности наших отношений я не ощущал до конца, и чем более ощущал я невозможность сделать это явным, т. е. сделать явным, что я принимаю их—плюс еще что-то, без чего все приятие есть еще «приятие так сказать», тем более создается в моем сознании трудность, почти грех перед Мережковскими высказать им, что этого плюса-то им и не достает. Я ощущаю в нашем, т. е. в моем общении с Блоком именно этот плюс, и этого не понимают Мережковские, считая, что мои постоянные «убегания» к Блокам и просиживание там целыми днями, есть sui generis болезнь, декадентство, мистика, ибо к линии А. А.—Мережковский в ту эпоху относился с резким недоброжелательством: сколько раз он указывал мне на опасность для меня отдаваться беспочвенной «блоковской» мистике, — «Боря, тут у вас безумие», — неоднократно говорил он мне. Бывало я пробираюсь в переднюю из квартиры Мережковских (угол Литейного и Пантелеймоновской, д. Мурузи), а З. Н. провожает меня вопросом из гостиной: «куда?» «К Блокам». — «Опять? Завиваться в пустоту?» Мои сидения с А. А. и Л. Д. в уютном кабинете А. А. на Петербургской стороне и наши беседы, З. Н. называла тогда: «завиваться в пустоту», т. е. разговоры о «несказанном», «неуплотняемом» никаким решением, формулой, общественным или религиозным поступком. А бывало, когда я возвращаюсь от Блоков (уже вечером) и попадаю в гостиную к Мережковским, к какому нибудь важному общерелигиозному разговору, где решаются вопросы — «или мы поднимем пожар, или никто» и сидит при этом непременно или Философов, или Бердяев, или Волжский, или Карташев, то Д. С., лукаво взглянув на меня, и сделав шутливую гримасу (т. е. давая мне понять, что я опять таки «завивался» в пустоте), вводит меня в курс разговоров, и я в свою очередь начинаю «поднимать» на своих плечах грузную,

пудовую, религиозно-общественную тему. Между домом Мурузи и казармами я чувствую себя разорванным все недели моего петербургского жития. Жизнь у Мережковских была интересна, кипуча, чревата вопросами и пронизана подлинным общением и великолепным, сердечным, подлинно братским отношением друг к другу между членами нашего маленького коллектива, но до чего утомительной, грузной мне казалась эта жизнь, приведшая таки Д. С. Мережковского к Струвенской «Полярной Звезде» с самого начала революции девятьсот пятого года и замкнувшая его в полярном круге той общественности, к которой мы, аргонавты, относились тогда еще с предубежденностью, как к кадетской общественности.

К Блокам я вырывался из этой интересно-тяжелой жизни, как к себе домой, в отдых, в тишину, где никто не нападает с вопросами о том, что «или мы или никто», но где встречают все понимающие глаза А. А., который, мягкой рукой взяв меня за локоть, проведет к себе, усадит в удобное кресло, улыбнется и предложит из большой деревянной папиросницы папиросы,—мы сидим друг перед другом и помалкиваем с добрыми, чуть-чуть ласковыми улыбками, скользящими на лицах. В этих улыбках, перерываемых затяжкой папирос, происходит между нами немой разговор: «что, измучился в проблемах? опять украдкой удрал?» Ответ: — «и не говори». — «Опять будет нагоняй и Д. В. Философов прочтет тебе нотацию, что ты у меня «завиваешься», и вечером, в присутствии Таты, Наты, Антона будет разбираться вопрос о том, как быть с Борей, преданным сектантскому безумию?» Все это молчаливо проходит между мной и А. А., ибо он с обычной своей невыразимой чуткостью догадывается о всех картинах моей жизни у Мережковских вплоть до разговоров там о нем и провоцирует своими смешками меня к излишней откровенности с ним, на которую я иду потому что вижу его теплое, мягкое отношение к Мережковским. Он, не перенося их, как общественных деятелей, считая их, как таковых, дотошными и слепыми, нарочитыми, особенно отрицательно относясь к ним за компромисс (брак с идеалистами), тем не менее с мягкой человеческой симпатией подходит к ним, как к людям. Разговор наш с А. А. в то время часто вращался вокруг Мережковских, потому что А. А. их любил и ценил, понимая их в их интимном быту, но поскольку они это свое интимное превращали в общественно обязательное, постольку он видел в них лишь субъективистов, сломавших все ценное в собственных устремлениях, в упорном хотении раздуться до новых Лютеров и обреченных на неудачу. И во-вторых: А. А. видел мое увлечение

Мережковскими и, братски любя меня, входил в мои интересы, видя меня, которого он любил, в их среде, видя трудности, возникающие отсюда для меня, понимая, что это все «не то» для меня. Это сочувствие, умение это перевоплотиться в мелочи моих интересов происходило от большой нежности ко мне и ясного понимания меня в моем внутреннем образе. Я видел это. Уже одна несоизмеримость отношений А. А. к Д. С. Мережковскому сравнительно с отношением Д. С. к А. А., — трезвая любовная чуткость с одной стороны и непонимание с другой, решило мой выбор: я влекся к А. А. всей душой. Так убегал я от религиозной общественности к А. А., как к себе (каждый день убегал) и отдыхал душою и духом в гостеприимном доме. Так что за день до отъезда я простился с Мережковскими и перебрался в гостинницу, чтобы провести мой последний петербургский день нераздельно с А. А. и с Л. Д. (после мне «досталось» за это от Мережковских). Время моих путешествий к А. А. через Литейный мост — два-три часа дня. Очень часто просиживал я у Блоков до семи-восьми часов вечера. Квартира, в которой они жили, была светлая, чистая и просторная. Из передней вели две двери, одна — в комнаты А. А. и Л. Д., в кабинет и спальню, отделенные от всей квартиры и составлявшие как бы квартиру в квартире. Другая дверь вела в просторную комнату, поражающую чистотой паркетов и белизною стен. Здесь была расставлена мебель, стоял рояль и, если память мне не изменяет, небольшой книжный шкап. Отсюда направо дверь уводила в столовую, откуда уже шла в комнаты Ф. Ф. и Александры Андреевны, в корридор и кухню. Очень часто дверь отворял мне сам А. А. и проводил к себе в кабинет: узкую комнату в одно окно, кончавшуюся дверью в спальню, откуда часто к нам выходила Л. Д., или куда скрывалась во время наших долгих сидений. Комнату занимали: большой письменный стол, помнится красного дерева, диван. Перед столом стояло удобное кресло, у окна столик с креслами и против стола узкий книжный шкап. А. А. в эту пору ходил дома в необыкновенно шедшей к нему черной шерстяной рубашке без талии и не перетянутой пояском, расширяющейся к концу с выпущенным, широким отложным белым воротником à la Байрон, с открытой шеей, напоминая поэта начала столетия. Его курчавая голова, высокая шея и вся статная фигура останавливали внимание. Я садился на диван, опершись рукою на край стола. А. А. садился в кресло перед столом, а выходившая к нам Л. Д. очень часто забиралась с ногами на кресло около окна, и начинались наши молчаливые много-часовые сидения, где разговора-то, собственно,

не было, где он был лишь случайными гребешками пены какого-то непрерывного душевного журчания струй, а если и был разговор, то вел его главным образом я, а А. А. и Л. Д. были ландшафтом перерезавших их ручей слов. Помнится, что этот ручей был — для ландшафта, где взвивались птицы, всходили и заходили зори. Помнится, З. Н. Гиппиус допытывалась у меня — «ну, о чем вы у Блоков, например, говорите? А. А. человек молчаливый, Л. Д. тоже, я не понимаю, что вы делаете там каждый день». И я должен был раз признаться, что разговора-то в обычном смысле у нас нет вовсе. — «Но это какое то молчаливое радение» — даже возмутилась З. Н., — «все эти несказанности, неизреченности, где-то, что-то и кто-то, — весьма опасная вещь». Она не могла понять, что не было никакого «где-то» и «что-то» у Блоков, а было подлинное, хорошее, человеческое конкретное общение, самое представление о котором испарялось в абстрактной, многословной, вырождающейся интеллигентской-писательской среде, в которой А. А. был уже в одном своем факте конкретного отношения к человеку подлинным революционером, явлением непонятным, о котором нужно было непременно судить вкривь и вкось. И я слышал эти разговоры об А. А. вкривь и вкось в литературной среде тогдашнего Петербурга. Как в эпоху «Двенадцати» на него косились за «большевизм», так в эпоху выхода «Стихов о Прекрасной Даме» на него косились как на антиобщественного, как на крайнего «субъективиста», ходящего с какою то мистической невнятицею в душе. Его, конкретнейшего, трезвейшего среди «абстрактов» тогдашнего времени обвиняли в невнятице за то, что «невнятицу» часто жалких и квази-ясных схем он не принимал, не понимал и выражал откровенным коротким: «не понимаю». С этим «не понимаю» появлялся он в кружках тогдашней литературы. Я помню А. А. где то среди шумного собрания того времени (может быть у В. В. Розанова), — замкнутый, немой, с окаменелым и казавшимся чем то испуганным затемненным лицом, с плотно сжатыми губами, сопровождая молчанием разливное море слов, всем видом своим показывал — «не хочу», — «не принимаю», «не понимаю», — вызывая любопытное, опасливое отношение к себе: «Блок — он какой то немой, провалившийся в своем субъективизме». Помнится, я никогда не мог даже защищать его, не мог выявить его таким, каким он был, именно потому, что я ясно представлял себе бездну, отделявшую живые устремления А. А. от слов, слов и слов, от которых ныне не осталось и следа. Я только отмахивался на все характеристики А. А., почти не оспаривая их, ибо мне было так трудно приподнять для

«внешних» людей его подлинный образ, как отцу выразить то, что он испытывает к сыну, как к мужу, что он испытывает к жене, брату, когда он без слов физиологически несет брата в душе своей.

А. А. Блок, насколько я помню, в ту пору редко показывался на людях. Он все время сидел дома и я не мог его представить себе без Л. Д. Быть с А. А. значило очень часто быть с Л. Д. Он имел вид домашний, семейный, уютный, разительно противоположный тому виду одинокого, бездомного, каким он порою стал выглядывать позднее. Неотразимый внутренний комфорт распространялся вокруг него и мне было приятно сознавать, что в этот свой уют и комфорт он принимает меня. Ему было легко со мной в то время, даже казалось что минуты недоговоренности и взаимной проверки друг друга, бывшие между нами в Шахматове и Москве, отошли в далекое прошлое, что исчезали между нами все вопросы («нет вопросов давно и не нужно речей»), оставалась ясная, тихая, не замутненная поверхность глубокого нашего общения. И эту поверхность я зыбил как угодно (словами, шутками, шалостями, молчанием).

Помнится, это ощущение духовной близости между мною и всем семейством А. А. казалось при всей его парадоксальности настолько ясным, что Александра Андреевна раз сказала мне, как само собою разумеющееся: «как же нам быть без вас», — что я принял как аксиому. И даже вставал вопрос о моем переселении в Петербург.

Изредка, когда А. А. не оказывалось дома (обыкновенно тогда Л. Д. сопровождала его), я оставался с Александрой Андреевной, и мы вели с ней нескончаемые разговоры.

Эта общность бываний вместе не была абстрактной. Каждый к каждому чувствовал своеобразную окраску отношений: у меня была своя окраска для А. А., другая для Л. Д., для Александры Андреевны. Мы в эту пору часто говорили в красочных символах и определяли тоны, в которых мы воспринимали наших знакомых. Я импровизировал, а А. А. реагировал, красочно меня исправляя. Помнится, что отсутствие С. М. Соловьева, доселе всегда участвовавшего в нашем общении, к удивлению, не только не препятствовало нам быть вместе. но даже как будто и облегчало нас: не чувствовалось форсированности «теократического» нажима, было шире, спокойнее, уютнее, прочнее. Если мое пребывание в Шахматове извлекло во мне звук «розово-золотых зорь», то чувство совместно проведенных с А. А. этих петербургских недель оставило во мне след, как будто я находился под ласковым глубоким голубым небом, перерезанным немного грустными облачками-барашками. Вместе с тем чувствовалась и грусть.

Ясно без слов осознавалось: зори слепительного дня суть зори далекого будущего, которого мы, вероятно, никогда не увидим, — ну что же, ничего, — оставались отблески зорь в душах. И связь душ друг с другом в их озарении оставалась единственными, ни с чем несравнимыми человеческими отношениями, которые были нам подарены, как жемчуг и которые надо было достойно пронести через жизнь.

«О чем пишете, о чем говорите?», — способны и по сию пору воскликнуть многие недоумевающие читатели, — и о каком общении идет речь, — дружеском, идеологическом?» — О том общении, которое есть мистерия человеческих отношений, которую так позорно затаптывают в пыли жизни, — о той мистерии отношений, которая и есть мистерия собственно, или загадка, загадываемая и по сие время филологии — чем была мистерия древности, о том ощущении бессмертия, звуки которого извлекаются только тогда, когда души протянуты к душам, от Главного к Главному, которое есть дух — «глаза в глаза: бирюзовеет меж глаз — меж нас — я воскрешен, и вестью первою провеет: не я, не ты, не мы, но Он». К этому стремились Мережковские, но заглушали Главное суетой «вопросов». И это чувствовал как атмосферу А. А. без всякого оформления: звуки далекого, все еще не углубленного нового отношения человека к человеку.

Помнится, в эти революционные дни в Петербурге Айседора Дёнкан исполняла седьмую симфонию Бетховена и ряд номеров Шопена, и помнится, как мы (главным образом Л. Д. и я) отдались этой звуко-ритмии, столь близкой впоследствии для меня. Помню, мы были вместе в концерте: не забуду никогда появление Дёнкан в allegretto (вторая часть Симфонии) и не забуду двадцатой прелюдии Шопена. Звуки «Двадцатой прелюдии» и жесты Дёнкан были для нас символом новой, юной, зареволюционной России, большого зеленого луга, на котором, как цветы, развиваются новые песни и пляски. Этот звук двадцатой прелюдии сливался с звуками новой еще не достигнутой высоты человеческих отношений, той «коммуны мечтателей», о которой впоследствии писал я. «Коммуна» понималась мною тогда наивно-реалистически, понималась как своего рода «наша» коммуна противоположная «коммуне» Мережковских. Помнится, в один из периодов быстро промчавшихся недель Л. Д. обратилась ко мне с вопросом о том, как обосновать то, что было предметом наших утопических разговоров в Шахматове, т. е., если бы сфантазированный С. М. Соловьевым мыслитель Lapan жил в наши дни, то в схемах какой идеологии мог бы он выразить свою философию? (Л. Д.

была тогда курсистка-филологичка и интересовалась философией). Помнится, что я ответил на это целой попыткой развить новую систему философии и ряд дней читал нечто вроде лекций перед А. А. и Л. Д., начиная с Канта, Вундта и других философов и кончая смелейшими теологическими выводами,—целую философию символизма. Я хотел было ее написать (в эпоху одиннадцатого-двенадцатого годов), но она встретилась во мне с доктриной Рудольфа Штейнера, которой я отдался в те годы.

Так жил я в Петербурге двойной жизнью, проводя дни у Блоков, а вечера и ночи в общении с Мережковскими. Помнится, одно время часто приходил ко мне Л. Д. Семенов и вызывал меня от Мережковских в Летний Сад, где рассказывал о своем потрясении, о резком сдвиге сознания, — он шел вместе с рабочими к царю, надеясь, что царь выйдет к рабочим, и прямо попал на расстрел, — вокруг него валились люди, и он переживал бурный переворот от монархизма к эс-эрству. Одно время его мечтой было убить кого нибудь из царской фамилии. Помнится, в это время к Мережковским явился из Москвы В. Ф. Эрн и В. Н. Свенцицкий с проектом обращения к Синоду от группы христиан, протестующих против покрытия расстрелов именем церкви. Мережковский. Философов, Карташев горячо откликнулись на это. Мы собрались в Пале-рояле на Пушкинской улице в номере там жившего П. П. Перцова для обсуждения этого обращения. Кроме упомянутых мною лиц, меня и П. П. Перцова, помню, что там были: В. А. Тернавцев, секретарь Синода, В. В. Розанов. Тернавцев, выслушав речь Свенцицкого о том, что он готов лично явиться с этим обращением к иерархии, отнесся с недоверием к пафосу Свенцицкого и прибавил: «ну, что же, может быть вы и пророки, идите, читайте». На это Философов возразил: «как это вы, В. А., прекрасно зная, что грозит этим юношам, с такой невинной миною приглашаете их совершить такой проступок,—это значит, направить их в пасть к льву», на что Тернавцев ответил полушутливо, полусерьезно: «что же, если они считают себя вправе обличать представителей церкви, они должны быть готовы на все». Присутствующий здесь В. В. Розанов все больше помалкивал, блестя золотыми очками и потряхивая коленкой. Он осведомился небрежно о происхождении В. Ф. Эрна и Свенцицкого, подчеркнувши их нерусское происхождение, а относительно их пыла реформировать православие небрежно сказал: «была навозная куча и осталась навозная куча, нечего ее и раскапывать». Так был он настроен антиправославно в то время. И тем не менее меня поразила его дружба и согласие во

многом с Тернавцевым: они называли друг друга Васей и Валей и поехали от Перцова обнявшись, на одних санях. Я понял, что соединяет их не религия вовсе, а быт, эстетика культа.

Помнится, в эти дни мы вышли от Мережковских втроем, — Свенцицкий, Эрн и я, — и у Литейного моста в разговоре Свенцицкого со мной у него в голове возникла идея «христианского братства борьбы», которое скоро в Москве и осуществилось, но к которому в Москве я уже не примкнул. Прокламации братства печатались в комнате Эрна и Свенцицково, живших вместе на Предтеченке (в угловом доме, наискосок от бывшей Поливановской гимназии: вход к ним был через писчебумажный магазин). Помнится, я шел к А. А. Свенцицкий пришол со мной к Блокам и, усталый, угрюмый, просидел там весь вечер. А. А. он и на этот раз решительно не понравился, а к идее «братства» он отнесся резко отрицательно. Так протекали наши петербургские дни,—и вот, уже приближался день отъезда. Последний день я провел у Блоков. В последний раз между нами была тишина и гармония, никогда уже больше не появлявшаяся до периода наших встреч после 1910 года. Мы вступили в трудный и сложный период наших отношений, длившийся с лета 1905 года, когда я еще раз и в последний, с С. М. Соловьевым, гостил в Шахматове, после которого последовала уже новая встреча, новый цикл отношений, именно в темном, что оба мы друг от друга таили в эпоху 1904—05 г.г., в том темном бездонном небе, которое однажды выступило у нас в нашей шахматовской беседе, — в небе, которое может быть и небом духа и тяжелой судьбою, в зависимости от человеческого подхода к нему, но которое я называю пока внешним сочетанием слов: «трагедией трезвости» называю я нашу грядущую встречу. Между этой трагедией трезвости и ласковым душевным уютом с мечтами о мистерии шел трудный кряж для нас одинаково тяжелых годин, 1906 — 07 — 08 — 09 годов, где линия наших встреч из прямой стала вдруг ломаной.

Мне необыкновенно трудно охарактеризовать А. А. в период этих наших встреч. Пришлось бы или вскользь коснуться их, или постараться выявить и членораздельно рассечь узел наших взаимных отношений, сплетенных из решительного переворота в моих идеологических построениях, уже далеких от А. А., вплоть до литературной тактики, и из узла душевного перелома, происшедшего в сознании А. А. Из него он вышел с тем суровым, замкнутым, опаленным видом, с тою, лоб перерезывающей складкой, с теми мешками вокруг глаз, с тем угрюмым почти видом, который был часто для него ха-

рактерен во всю дальнейшую его жизнь. Блок, загорелый, от розово-золотого воздуха, стал Блоком спаленным, сожженным пламенем судьбы. Кончился период Блока, как автора «Стихов о Прекрасной Даме». Певец «Незнакомки», «болотных марев», создатель «Балаганчика» — вот, кто выступил в А. А. из первого периода его поэтической деятельности. И этим периодом оканчивается первый период моего общения с ним, на нем я оканчиваю свои воспоминания об А. А. просто потому, что одна попытка очертить А. А. этой первой эпохи, заняла уже столько печатных страниц. Между тем, вспоминая А. А. нельзя было обойти А. А. 1903 — 04 годов, а я был в этот период ближе многих к нему, и мне выпадает на долю естественно остановиться на этом периоде.

Никогда не забуду последнего нашего дня, проведенного вместе, когда мы уславливались, что встретимся летом в Шахматове. А. А. и Л. Д. провожали меня на вокзал и когда поезд тронулся, я увидел в окно их ласковые, мне кивавшие лица.

По возвращении в Москву, взяв в руки газету, я узнал об убийстве великого князя Сергея Александровича, происшедшем накануне, в час нашего расставания с А. А. И опять, как при известии об убийстве Плеве в день возвращения из Шахматова в Москву, меня поразило внешнее совпадение моих отъездов к Блоку или от него с днями значительными: отъезд из Шахматова—убийство Плеве, въезд в Петербург—в день расстрела рабочих, отъезд—в день убийства Сергея Александровича, и потом второй отъезд из Шахматова совпал с событиями на броненосце «Потемкин», отъезду в Москву 1905 г. в декабре помешало декабрьское восстание, приезд к Блокам весной 1906 года совпал с открытием Первой Думы, переезд из Дедова в Москву в 1907 году в связи с моими мыслями об А. А. совпал с взрывом Столыпинской дачи на Аптекарском острове. Точно в ритм наших отношений с А. А. врывался другой страшный ритм, который нужно было осознать. Конечно, я ничего не строил на этих совпадениях. Помню только, что в письме А. А. ко мне в Москву было отмечено: совпадение моего отъезда с событием политической важности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мои «Воспоминания» — первая глава воспоминаний. Две другие пока не написаны. Я постараюсь их написать. Они составят период наших общений и встреч 1905—1907 годов. Этот период опять таки

замкнутая глава воспоминаний. Здесь стиль наших встреч, общений и разговоров иной, — тревожный и сложный. Этот второй период обнимает деятельность А. А. эпохи писания им стихов о «Нечаянной Радости», «Снежной Маски», «Балаганчика», «Незнакомки» и критических статей, помещенных в «Золотом Руне», органе, мне и враждебном, и чуждом, как были чужды ему в то время «Весы» и кампания «Весов» против Петербургской линии символизма и в частности против союза А. А., В. И. Иванова и Г. И. Чулкова, возглавляемого «Факелами» и книгоиздательством «Оры». И наконец третий период наших отношений, составляющий третью главу воспоминаний,—эпоха новой встречи и нового, прочного, ничем не замутненного понимания в основном ядре наших личностей при полной противоположности наших выявлений, интересов и оформлений нас в литературных и общественных кругах. Этот период тянется от 1910 до 1921 года, вплоть до смерти поэта. Звук и окраска всех наших встреч этого последнего периода протекают в теме темно-синего, глубокого, сосредоточенно серьезного оттенка, который выбран А. А. для цвета букв заглавия на третьем томе (издания Пашуканиса).

В трех этих периодах личность А. А. очерчивается передо мною всякий раз по-новому. Новый ретуш ложится на то, что заставляет нас и в дружбе и во вражде одинаково живо поворачиваться друг к другу. Но одно общее остается во мне от этих, столь различных наших трех встреч,—утопической первой, трагической во многом второй, и спокойно-трезвой и мужественной третьей, где слова «верность» и «доверие» друг к другу являются лучшим характером наших отношений: общее, целое — есть необыкновенная важность самого бытия А. А. для меня и моя обращенность к нему, к его миру мысли со всем, что я носил в себе. Все это показывает, какую роль играл он в моей жизни. Вероятно, он и не подозревал, сколькими статьями я ему обязан, сколько идеологических оформлений во мне созрело под импульсом его глубокой, молчаливой личности! Во многом он сам бывал для меня тою глубинной книгой, которую я читал, порою запутываясь, с трудом дешифрируя сложные и невнятные тексты этой глубинной книги,—разражаясь порой градом фельетонов и публицистических заметок против непонятого текста молчания А. А. Долгий мой период возвеличивания поэзии Брюссова и углубления в тактику специфически московского символизма, вся серия моих заметок в «Весах» под заглавием «На перевале» стоит в связи с непонятым мною миром сознания А. А., столь мучившим меня, и в связи с моей горькой и глубоко несправедливой рецензией о «Нечаянной

радости» («На перевале»), где сказано, что Блок, подменою «Прекрасной Дамы» «Незнакомкой» приобрел поэтическую внешнюю силу ценою исключения себя из предела Иоаннова Храма, т. е. здания новой культуры, построенного на новом культе человеческих отношений. Вся линия моей полемики с «символическим» театром проистекала из понимания театральных интересов А. А. как подмены некоей мистерии жизни в нем театром и балаганом.

Он, такой молчаливый, был для меня ходячей идеологией, влиявшей на меня всегда с неизменною силою тем магнитом, по линии притяжения или отталкивания от которого строилось очень многое в моей идеологической жизни. А. А. Блок, чистый поэт, далекий от идеологии, для большинства из его поклонников, был для меня сам в себе воплощением идеологии, конкретным философом, а не только любимейшим из поэтов, не только близким и значительным человеком. Это продолжалось до 1912 года, когда я стал близок к проблемам «духовного знания» и в них получил ответ на многие мои вопросы, обращенные некогда к А. А. И А. А. это знал, знал, чем он был для меня, и отвечал мне таким жестом духовного общения, который протягивал над нами связь даже в периоды разрыва всех внешних связей вплоть до перерыва письменных сношений.

Вот почему, характеризуя фигуру А. А., я не мог его выключить из общего фона эпохи: его бытие само по себе, его частная жизнь—есть эпоха, настолько эпоха, что эпизоды этой жизни, превращаемые им в стихи, становились любимыми строчками всего живого и передового в истинном смысле на протяжении двух последних десятилетий. Было в нем нечто эпохиальное, и потому-то, когда он входил в то или иное общество, сидел, молчал, наиболее чуткие воспринимали это молчаливое присутствие Блока, как присутствие Эпохи и как Чело Века, действующего в этом прекрасном челе, перерезанном строгою морщиной сосредоточенной боли. И молчание этих скорбно-изогнутых сжатых уст и несколько надменно закинутая голова, — все действовало как Слово, которое нужно было переживать во многих словах, статьях, идеологиях. Он был как бы сам по себе идеологией, действующей потенциально, и вызывающей вокруг себя динамизм. Он не писал идеологических трактатов, но идеологи притягивались к нему: сначала мы, москвичи, потом В. И. Иванов, Г. И. Чулков, потом иные. Блок, такой «безыдейный» в своей поэзии, именно всегда пребывал крупной фигурой того или иного идеологического центра. Таким он оставался до последнего времени, таким своим, личным, считала его Вольно-Философская Ассоциация, в ко-

торой он сравнительно мало выступал, но в которой неизменно духом присутствовал. Таким чувствовало его ранее «Знамя Труда», независимо от его беспартийности, таким чувствовали и прежде его «Факелы», «Оры», «Сирин», «Мусагет», «Труды и Дни», «Золотое Руно» и т. д.,—не поэтом только, а идеологом.

Я более, чем кто либо, всегда осознавал его действующим на весь мир моей мысли и настраивающим его на тот или иной лад. Целый ряд мыслителей, с которыми я общался в то время, не давали мне никакого живого импульса, сколько бы прекрасных и ярких мыслей они ни излагали мне. А. А. одной фразой, одним жестом активно динамизировал мой внутренний мир, и порою мало знавшим наши внутренние отношения могло казаться, что мы обмениваемся незначущими фразами, но эти фразы очень часто были шифром, другим непонятным. Ключи к шифру—тот непередаваемый фон наших внутренних отношений, где с одного слова угадывался ненаписанный том.

И потому, вспоминая фигуру А. А. в одном лишь периоде нашего общения с ним, мне приходится мобилизовать и эпоху, и идейные течения того времени и разнообразный мир моих мыслей, устремлений и чувств. Можно сказать,—я его читал и видел не только по его внешнему облику, а из своего сердца. И чтобы понять его в том или ином его жесте, нужно было мне как бы отвернуться от него, закрыть глаза руками и сосредоточиться на неуловимых движениях сознания. В них проростало мне то или иное слово А. А., и я отвечал на это слово подчас не внешним ответом, а ответом на образы своего внутреннего мира, встававшие из сердца. Он сразу понимал, откуда во мне этот ответ и куда он обращен, т. е. мы порою говорили словами о том, что лежит за словами: оттого-то, когда мы верно прочитывали друг друга в шифре слов, мы достигали невероятной близости и понимания, а когда не умели прочесть, то между нами поднималась та сложность и путаница отношений, которая пугала своей катастрофичностью.

В своих воспоминаниях этих так много говоря о себе, о своем, я выговариваю не свое, а действующего во мне А. А. В этом внутреннем действии на меня — особенность стиля наших отношений, особенность того sui generis не дружбы, не товарищества, а братства, которое столь редко, столь недосягаемо в жизни людей, которое, когда оно есть, считается чудом. Здесь я останавливаюсь и хочу поставить точку. И нет: еще рано.

Я провел читателя по двум-трем годам нашего общения, а это общение обнимало восемнадцать лет. Теперь я вынужден опустить

занавес над этими воспоминаниями. Занавес—краткий обзор, как бы с аэроплана, главнейших географических точек страны наших встреч.

Наши юношеские устремления к заре, в чем бы она ни проявлялась—в идеологии, в жизни, в личном общении, были как бы планом совместной жизни в новых пространствах и в новых временах. И понятно, когда возникали речи о конкретном материале для здания этой жизни, возникали недоумения и трудности, неведомые тем, кто ясно и трезво делит жизнь на бытовое отправление функций и на абстрактное изложение идей, не зацепляющихся за жизнь.

Эти трудности наростали. И первый удар нашим чаяниям было полное непонимание друг друга в Шахматове летом 1905 года, когда, с одной стороны, теократические устремления С. М. Соловьева шли в разрез со всем стилем и тоном отношений, сложившихся между мной и А. А. в Петербурге; с другой стороны, моя постоянная жизнь в Москве, а летом в Дедове, с С. М. Соловьевым, стиль наших отношений en deux был до конца не ясен и непонятен Блокам. Я видел двойное непонимание друг друга двух лучших моих друзей. И в этом непонимании душа моя раскалывалась пополам. Я хотел сгладить, стушевать острые углы в этом начавшемся расхождении между С. М. Соловьевым и А. А., расхождении, которое стало уже совершившимся фактом в те дни и которое продолжалось почти до кончины А. А.

Трудно и невозможно здесь вскрыть причины этого расхождения. Это не было расхождение лишь идеологическое, — о, нет, — а расхождение двух линий жизни, вплотную подошедших друг к другу и вдруг увидевших, что все, что прежде соединяло их, сплошное недоразумение: тут были и идеологические мотивы и личные, и та, своего рода, борьба, которая бывает лишь в столкновениях родственной крови. А. А. вдруг почувствовал в С. М. линию «Коваленских», т. е. линию бабушки С. М., которую исконно не принимал в сознание А. А. Уже тот иррациональный факт, что в С. М. есть нечто «Коваленское» подменял сам образ С. М. и делал для А. А. из его соловьевства лишь маску, под которой утаивалось нечто иное, прямо противоположное. Нечто подобное одно время в А. А. почувствовал и С. М. И вот, два друга обернулись друг к другу новым аспектом, кажущимся обоим химерой. Тут выявилась вся нетерпимость и, сказал бы я, субъективность в отношении А. А. к своему другу и родственнику. И я вынужден был присоединиться во многом к С. М. Были, наконец, и причины, вовсе не поддающиеся описанию, в этом мучительном для меня расхождении.

Наконец тут же выявилась впервые и линия нашего расхождения с А. А. уже совсем в другой плоскости. А. А. и меня увидел другим, не тем, каким я стоял перед ним прежде: линия нашего общения шла от зорь будущего к самому конкретному братскому общению, в котором он брал меня человеком. Вдруг он увидел ясно во мне ряд, мне самому еще до конца неясных, «человеческих, чисто человеческих» нот и, не осуждая меня за них, он просто хотел, чтобы и я поставил точку над «и», т. е. признался бы себе в том, в чем я не хотел признаться, какою бы ценой это признание не было куплено. Я упирался, боролся и закрывался щитом «теократии» С. М. Соловьева, отстаивая последнего в его теократическом фанатизме против А. А. Это не нравилось А. А., и он с глубокой грустью и тревогой прозирал неминуемые, чисто трагические минуты, которые отсюда возникнут. Я с своей стороны впервые увидел в А. А. размах того трагического надрыва, который вел его неизбежно к написанию «Балаганчика». То «черное небо», которое в прошлом году выступило на миг над нами, теперь являлось для меня сплошным фоном его моральной жизни. И потому ряд стихотворений, составляющих ядро его «Нечаянной Радости» и прочтенных им нам в то время, укрепило и С. М. и меня в мысли, что Блок перестал быть Блоком. Словом, между всеми нами вдруг углубилась линия различия, — союз нас трех был безвозвратно разорван. И этот разрыв уносил я как глубокий надрыв. Подлинная причина «надрыва» лежит, конечно, еще глубже, но о ней трудно писать.

Эта подлинная причина, все развиваясь и развиваясь во мне, в С. М., в А. А., в каждом по-своему, привела к горькому обмену письмами между А. А. с одной стороны, С. М. и мной с другой. Словом, я написал А. А. письмо, где извещаю его о разрыве наших отношений. Этот разрыв был истинным горем моих осенних и зимних месяцев 1905 года. Наконец я не выдержал и, не имея возможности написать А. А., (это была эпоха почтово-телеграфной забастовки), я нарочно поехал в Петербург, чтобы иметь объяснение с А. А.

Объяснение состоялось. Мы нашли опять ритм, уже новый, и провели несколько недель вместе. Это было в ноябре-декабре 1905 г.

В 1906 году я опять не раз был в Петербурге, — в феврале-марте и в апреле-мае, где причина нашего расхождения опять выявилась во всей своей неприемлемости, что повело нас к бурному обмену объяснений (в августе и сентябре 1906 года в Москве и Петербурге), после чего я уехал заграницу, не понимая многого в А. А.

Мы и литературно оказались во враждебных лагерях, — он, как мне казалось, в лагере мистического анархизма, который был для меня линией профанации символического течения.

Расхождение с А. А. привело меня к написанию ему одного едкого почти оскорбительного письма летом 1907 года.

В нашем трудном положении друг относительно друга А. А. был гораздо объективнее меня и все время боролся со мной, противополагая свое «нет» моему настойчивому «да». В некоторых вопросах, стоящих между нами одновременно в другой плоскости, более глубокой, как бы обращаясь к самому ядру человеческого сознания во мне, говорил мне свое неизменное «да» и протягивал свою братскую руку вопреки всем расхождениям. Но сфера, куда скрылся для меня А. А., казалась мне именно сферой темной грусти, разлитой вокруг него.

Между тем, это была сфера ночного бездонного неба. Наши зори были изорваны. В лоскутья этих зорь облеклись персонажи из «балаганчика», самое небо разорвалось, как папиросная бумага, изображающая небо в «балаганчике». Но настоящая небесная бездна, а, может быть, мне невидная духовная бездна, переживаемая нами, как рок, просвечивала во всех внутренних жестах А. А., оставшегося верным чему-то последнему, внеобразному и в душевных движениях невыразимому. Сферу этого строгого мрака, порога перед подлинным откровением духовного мира быть может пытался основать и основывал впоследствии А. А., что показывает стиль его отметок в произведениях Антония Великого (Добротолюбие т. I). Эти отметки замечательны и, быть может, этими отметками сигнализировал он бессознательно мне сквозь всю бездну нашего с ним расхождения. Антоний говорит: «свободу, блаженство духа составляют настоящая чистота и прозрение при временности» (2 — 18) подчеркнуто А. А. — «знайте, что дух ничем так не погашается, как суетными беседами» (тоже подчеркнуто). Он хотел со мной быть в общении в той сфере, которая не нарушалась бы суетными беседами, объяснениями, и из какой-то иной сферы протягивал мне руку без слов. Я, видя полный хаос и замутненность в наших духовных отношениях, требовал как бы от него возврата к ясной духовной атмосфере 1904 — 05 г., увы, уже невозвратной, а сам духовно не мог приподняться над собственной душевной смятенностью и потому-то руку общения, протянутую из Духа, встречал, как черную, мне непонятную тень, перерезавшую сферу душевной мути. Эта «черная тень» вместо «я» А. А., оставаясь непонятой, прочитывалась мной,

как действие злых сил на меня сквозь него и потому-то с такой страстной нетерпимостью я точно прицеливался нарочно в эту мне непонятную сторону отношений ко мне А. А., не прочитываемую мною, как высшая объективность, а прочитываемую, как слабость, дряблость и духовный компромисс.

Весь облик А. А. исказился во мне. Я точно придирался к поводу, чтобы оскорблять его в темной для меня точке его поведения, и в своем придирчивом письме 1907 года я обвинил его чуть ли не в литературном лакействе перед группой писателей, возглавляемых Л. Андреевым, я оскорбил в нем дух, и А. А., такой терпеливый и мягкий во всех расхождениях со мной, ответил мне неожиданно бешеным письмом, кончившимся вызовом на дуэль.

Дуэль не состоялась, но следствием этого резкого обмена мыслями явился приезд А. А. в Москву в августе седьмого года. Он жил тогда в Шахматове, руководил, если не ошибаюсь, оттуда литературным отделом «Золотого Руна». Наше свидание с ним произошло, так сказать, тайно от нас разделяющих литературных партий. Я, уведомленный им об его приезде, ждал его с нетерпением, не зная, чем окончится наш разговор, А. А. позвонил ко мне в семь часов вечера. Мы затворились с ним в моем кабинете, и к десяти часам выяснилось, что мы нашли-таки точку, новую точку отношений друг к другу. Мы ликвидировали по существу те душевные недоумения, которые наростали на наших отношениях с лета девятьсот пятого года. После чая втроем (я, мама и А. А.) мы проговорили с ним всю ночь напролет, пешком на рассвете шли на Николаевский вокзал, по дороге зайдя в какую то ночную чайную. В семь часов утра он уехал в Шахматово. Этот двенадцатичасовой разговор был первой тропою к стилю наших новых отношений, незыблемых, непререкаемых. И эту тропу, опять-таки, нащупал А. А., так благородно и прямо явившись ко мне и пожелавший, чтоб мы встали духовным лицом друг перед другом. Этот наш разговор был как бы разговором на духу. Душевные отношения еще портились, но незыблемая точка доверия и уважения в последнем, друг к другу оставалась при всех наших дальнейших расхождениях.

Вскоре мы встретились в Киеве. Группу московских поэтов киевляне вызвали на литературный вечер. В последнюю минуту А. А. Бунин отказался ехать, и С. А. Соколов, организовавший эту поездку из Москвы, пришел в уныние. Я предложил позвать А. А. и телеграфировал ему, прося приехать в Киев. Он мне отвечал кратко — «еду», и мы встретились там.

Наши киевские перипетии были сплошным бум-бум, т. е. спекулятивной рекламой предприятия, в которую нас москвичи по неведению затащили. Но для меня эта поездка была радостной: те четыре-пять дней, которые мы провели с А. А. вместе, опять живут во мне, как светлое воспоминание. С необыкновенной добротой и лаской он обхаживал мой душевный смятенный мир, а когда я однажды ночью почувствовал страшный припадок мне неведомого недомогания (чувствую, что я вот сейчас упаду, — чувство, воспринятое мной, как припадок начинающейся холеры (тогда в Киеве была сильная холера), то я вбежал ночью в номер А. А., бесцеремонно поднял его с постели и все время быстро двигался перед ним взад и вперед (мне казалось, что как только я приду в спокойное положение, начнется припадок). Это был просто нервный припадок. А. А. как нянька несколько часов возился со мной, не пустил меня в мой номер. Между нам возник опять один из тех непередаваемых разговоров, во время которого выяснилось, что А. А. по просту увозит меня из Киева в Петербург, потому что московский воздух мне вреден. Мы спать не ложились и рано утром соорудили кофе.

В этом желании конкретном возиться со мной и взять на себя тяготы общения с больным нервно-измученным человеком, с которым у А. А. было столько запутанных отношений, — в этом сказалось столько доброты, любви и сердечности и, скажу прямо, самопожертвования (ибо в общении я был неприятным сожителем в то время), что я просто без оговорок с благодарностью согласился на предложение А. А., и А. А. увез меня в Петербург, неожиданно для ожидавших меня в Москве лиц. И тут он поступил со мной как старший брат, взял на себя инициативу наших общений.

На другое утро уехали москвичи, а я должен был читать лекцию в Киеве. А. А., которого ждали дела в Петербурге, нарочно остался лишний день, чтобы взять меня с собой вместе. Я еще не вполне оправился от своей нервности. А. А. всю дорогу от Киева до Петербурга оказывал мне ряд заботливых услуг. Всю дорогу мы провели в непрекращающемся разговоре. Так неожиданно я попал в Петербург и провел с А. А. две недели (я жил в гостинице «Anglettere» на площади Исакиевского Собора, а Блок жил в угольном доме улицы, выходящей на Николаевский мост, Галерной).

В октябре-ноябре я опять попадаю в Петербург и опять я встречаюсь с А. А., но тут выясняется, что причина, проводящая между нами роковой рубеж, все еще неустранима. Внутренно доверяя друг другу, мы остаемся каждый в своем быту, в своем кругу мыслей

и разных, даже прямо враждебных литературных партий. Это было время близкого касания А. А. к театру Комиссаржевской, шел «Балаганчик», на котором мы были однажды с ним вместе.

Самый облик А. А. уже в этот период был не тот. А. А. девятьсот четвертого года как бы прятался в темной нише образов за складками театральных кулис, откуда выступало то скорбное, строгое и бездонное лицо его, которое, вероятно, многим так памятно.

18 ноября 1907 года я уехал из Петербурга, и мы не встречались с А. А. лично до осени десятого года. Не произошло между нами разрыва. На время установилось то внутреннее молчание, которое выразилось во мне, как моя продолжающаяся полемика с линией его литературной ориентации. Моя запальчивая и ужасно несправедливая рецензия на томик драм А. А. превратила это молчание в молчание внешнее, в литературную ссору. А. А. не отвечал мне на мою несправедливую рецензию, но понял ее, как приглашение к расхождению. Узнаю это по письму А. А. к Пантюхову, написанному через несколько дней по получении номера «Весов» с моей рецензией, в Петербурге, 22 мая 1908 года: «разве я не откровенен с вами, дорогой Михаил Иванович, — нет, я не скрываю ничего и не оберегаю, но я чувствую все более тщету слов с людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и другие. Я разошелся, отношения наши запутались окончательно и я сильно подозреваю, что это от систематической лжи изреченных мыслей».

Это расхождение, или вернее молчание, не нарушилось неловкой встречей нас с ним на вечере памяти Комиссаржевской, где в пустой лекторской остались неожиданно три человека, которые наименее всего в то время хотели встретиться, — А. А., Г. И. Чулков и я. Помнится, мы сухо протянули с А. А друг другу руки и тотчас же заходили взад и вперед, не произнося ни одного слова и стараясь друг на друга не глядеть. А. А. ходил от стены к стене, я тоже, но в направлении перпендикуляра, а Г. И. измеривал пространство комнаты по диагонали. Это неловкое молчаливое хождение друг перед другом длилось несколько минут, но я чувствовал уже в глубине души, что путаница между мной и А. А. ликвидирована, что то безусловное, верное и духовное, чему основа заложена нашим двенадцатичасовым разговором в Москве, развивается в нас вопреки всем формам духовного понимания и непонимания, вопреки всякой полемике, нас отделяющей. В это время был эпизод с напечатанием моей неудачной и мною же осужденной заметки «Штемпелеванная культура»,

вызвавшей шум и бойкот меня со стороны группы некоторых лиц, — инцидент, во время которого А. А., внешне со мной все порвавший, держал себя с необыкновенным благородством и мужественно защищал меня от обвинений, в которых я был неповинен (повинен лишь в легкомысленности — мгновенном и субъективном помысле, от которого я сам отказался вскоре).

Я нарочно даю лишь внешний обзор наших сложных отношений друг с другом в эту эпоху, не вскрывая узла этих расхождений. Описание моих встреч с А. А. этого периода и детальная характеристика его отношений ко мне потребовала бы не этого краткого абриса, а ряда печатных листов, которыми в настоящем издании я не могу располагать. Летом 1910 года произошла моя последняя третья встреча с А. А., продолжавшаяся без единого облачка в наших отношениях на протяжении одиннадцати лет. Я случайно прочел в Волынской губернии стихотворение «Куликово Поле», и действие этого стихотворения на меня было действием грома. Как цикл шахматовских стихов знаменовал для меня первую встречу с А. А., a priori окрашенную тонусом наших отношений, которые я пытался охарактеризовать в предыдущих отрывках, как чтение «Балаганчика» в феврале шестого года открывало для меня вторую тяжелую фазу наших отношений, так «Куликово Поле» было для меня лейт-мотивом последнего и окончательного «да» между нами. «Куликово Поле» мне раз навсегда показало неслучайность наших с А. А. путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас, ибо стиль и тон настроения вплоть до мельчайших подробностей, был выражением того самого, к чему я пришел, что я чувствовал, что я переживал всеми фибрами своей души, не умея это все высказать в словах. И вот А. А. за меня выразил в своем стихотворении это мое. т. е. опять таки «наше с ним». Тут я понял, что эти годы внешнего молчания нас соединили вновь больше всех разговоров и общений, соединили в том, что уже не требует никакого общения, соединили нас в духе. В десятом году я уже задумывался над темою «Петербурга». И пусть «Петербург» носит совершенно иной внешний вид чем «Куликово Поле», однако глубиной—мотив «Петербурга», неудачно выявленный и загроможденный внешней психологической фабулой, едва слышимой читателю, укладывается в строки А. А. «Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал—молись» (а вся психологическая фабула «Петербурга» есть подлинный рассказ о том, какими оккультными путями, злая сила развязывает «дикие страсти под игом ущербной луны» и рассказ о том, как «не знаю что делать с собою, куда

мне лететь за тобой»). Я тотчас же написал А. А. письмо подобное первому мною написанному (по поводу «Стихов о Прекрасной Даме») и получил от него тотчас же ласковый, острый ответ, говорящий моему письму: «да». И вновь возникла переписка между нами, а осенью десятого года мы все встретились в Москве уже по настоящему, вечному. В эту встречу я познакомил его с моей будущей женой. Не забуду тех вечеров, когда А. А. проводил со мной время у тех сестер Тургеневых, из которых одна стала моей женой, а другая женою С. М. Соловьева. В этот приезд его в Москву, в «Мусагете» наладилось издание его стихотворений.

В одиннадцатом году мне было трудно в материальном отношении. Предстояла альтернатива—отказаться от написания «Петербурга» и искать средств к жизни мелкой газетной, журнальной и редакционной работой, или писать «Петербург» (но подвергнуть себя и жену лишениям голода и холода). А. А. случайно узнал об этом «Петербурге [1]) и в деликатнейшей форме уговорил меня принять от него в долг пятьсот рублей, бросить мелкую работу и сосредоточиться на «Петербурге». Это был решительный импульс к работе для меня, и я считаю, что А. А. косвенно вызвал к жизни мой «Петербург».

Помню еще одну незабвенную встречу с А. А. в феврале двенадцатого года в Петербурге, в один из периодов, которые назывались в петербургских литературных кругах периодами мрачности А. А., когда его нельзя было увидеть. В этой полосе мрачности он находился, когда мы с женой жили в Петербурге у В. И. Иванова, на «башне». А. А. не виделся в ту пору ни с кем решительно и особенно трудна была ему атмосфера «башни». С В. И. он почему то не хотел встречаться. И я не хотел смущать его покоя, но он сам уведомил меня запиской, которую мне передали тайно от В. И., что он желает меня видеть, но просит сохранить наше свидание в тайне, дабы не обидеть друзей, с которыми он не видится. Он мне назначил свидание, не помню где, кажется в каком то третьеразрядном, глухом, никем не посещаемом ресторанчике. И тут мы встретились и провели несколько часов вместе. Этот наш разговор, редкий но меткий, как все наши встречи этого периода мне показал, какого друга я имею в лице А. А. Помню, я ему рассказал все обстоятельства моей так странно складывающейся жизни и все события, бывшие со мной за период от девятого до двенадцатого года, события, опре-

[1]) Заказанном Русской Мыслью, ею потом отвергнутым в лице В. Я. Брюссова, П. Б. Струве, не обеспечив мне требуемых месяцев работы и однако поставивших условием в 3 месяца подать 12 печатных листов.

делившие мою встречу с Штейнером в мае двенадцатого года. Он слушал меня молча, сосредоточенно, хотя оформление моего пути было чуждо ему. Однако, ядро моих недоумений и запросов было ему и приятно, и близко. До позднего вечера просидели мы с ним и, как заговорщики, разошлись в разные стороны желто-туманной, слякотной февральской улицы.

Мы ясно пожали тогда друг другу руки, как «дети России», именно, «как дети страшных лет». Мой скорый после того приход к антропософии, ему чуждой, он понял для меня и за меня, но нисколько не удивился ему,—он был подготовлен к нему теми нашими разговорами. Он сам иначе разрешал свой путь,—в методах разрешения мы были различны, в ядре, в ощупывании действительности, в Духе мы были в одном и тогда. Стиль его пометок к «Запискам Чудака» (номер второй и третий), которые он читал уже больной остался мне, как последний, как бы загробный привет мне, как «да» тому, в чем мы встретились еще в 1910 году.

С 1913 года А. А. становится и в внешнем смысле для меня добрым гением, оставаясь всегда внутренне братом. Он устраивает с Р. В. Ивановым в Сирине мой «Петербург», отстаивает энергично его (издатель и редактор «Сирина» не хотели печатать «Петербурга») и тем дает мне два года материальной свободы, в которые я упорно и деятельно изучаю антропософию. Позднее, в шестнадцатом году, зная критическое положение нас, русских, отрезанных от России, с Р. В. Ивановым энергично принимается за выпуск «Петербурга» отдельным изданием от моего имени, устраивая мне материальное существование, помогая мне расплатиться с долгами, берет на себя бремя хлопот и всевозможных забот.

Повернувшись ко мне своим ликом Марии, т. е. будучи для меня источником душевно-духовной помощи во многих обстоятельствах моей жизни, А. А. становится для меня и Марфой, т. е. берет бремя забот и хлопот для обезпечения моего материального существования.

Здесь, рисуя А. А. далеких годов, я не могу не отметить этих прекрасных штрихов его отношения ко мне в более позднюю уже эпоху, так чудесно обрисовывающих А. А. с ног до головы, от его душевных устремлений через душевную личность и теплоту, конкретизированную до самой внешней любви и заботливости к ближнему. В то время, как иные из моих личных друзей, постоянно связанных со мной физическим пленом, и не догадывались о моих реальных заботах и нуждах, он, «великий поэт», постоянно обремененный соб-

ственными делами и отдаленный от меня чисто физически из своего далекого Петербурга сквозь все грани, нас отделявшие, видит ясно меня барахтающагося в жизненных потемках то в Москве, то заграницей и протягивает издалека руку не только моральной помощи, но и материальной.

А. А. стоит передо мной прекрасный и вечный,—весь с головы до ног: «великий поэт», «большой человек», «человек новый», «человек правдивый»,—а это больше, чем «великий»,—человек прекрасный, т. е. изящный во всех своих проявлениях, и человек хороший, добрый, т. е. прекрасный в малом, умалившийся до малого, до забот о хлебе насущном своих друзей.

Он сотворил своею краткою человеческой жизнью вечную память в сердцах тех, кто его знал и любил. И этот памятник, нерукотворный, живее, бессмертнее и долговечнее тех памятников, которые будут ему поставлены из материалов и напечатанных о нем трудов. Этот памятник—его бессмертная жизнь, ибо мы в Боге родимся, во Христе умираем и в Святом Духе возрождаемся.

В. А. ЗОРГЕНФРЕЙ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

(По памяти за 15 лет, 1906 — 1921 гг.).

27 апреля этого года, во вторник, в редакции «Всемирной Литературы», виделся я, как обычно, с А. А. Блоком и недолго с ним разговаривал; после того отвлекся другими разговорами и делами; но к концу дня, вернувшись домой, вспомнил опять Блока — хмурого в тот день, молчаливого, явно больного, и впервые за 15 лет знакомства с А. А. подумал, что недостаточно его видеть и слышать — необходимо записывать впечатления виденного и слышанного. В тот же вечер я заполнил несколько страниц набросками воспоминаний о Блоке, наскоро и начерно, и приготовил тетрадь для дальнейших записей. Тетрадь эта осталась незаполненной. После 27 апреля увидел я Блока на столе, в комнате на Офицерской.

Раздумывая над неудачей своего замысла, я оправдываю себя и утешаюсь. Да, ценно для современников и для потомства каждое слово Блока, каждое его движение. Из этих слов и движений воссоздастся в веках — не живой облик гениального поэта, но хотя бы колеблемая отражениями жизни тень. Может быть, посчастливится сделать это, в сколько нибудь полной мере, другим. Об'яснение моей неудачи в той неизменной взволнованности, с которою я каждый раз, при разнообразных обстоятельствах, созерцал и слушал Блока. Сознанием его высоты был я проникнут с первой минуты, как его увидел — и задолго до этой минуты. Но то необ'яснимо волнующее и, при видимом спокойствии, страстное, что всегда было во взоре и в голосе А. А., нередко скрывало от меня формальный смысл его речей, всегда отрывочных и напряженных; волшебная прелесть его существа зачаровывала взор и внимание. Разговор с ним был, как разговор с тем — с тою, может быть, кого любишь: чрезмерно напряженная восприимчивость улавливала каждый звук, каждое дви-

жение, но порядок звуков и движений, смысл их терялись; оставалось слитное впечатление переживаемой радости. И как любящему благоговейно и нежно не придет в мысль, в итоге богатого впечатлениями дня, воспроизвести, в форме точных записей, речи и поступки любимого человека, так не в силах был сделать этого и я.

Может быть, и для Блока, при всем несходстве его, по ритму души, с Гете, найдется свой Эккерман; цель моих заметок—поведать, поскольку я в силах, о тех высоких впечатлениях, которые, обрываясь и возобновляясь, заполнили 15 лет моей жизни—период личного знакомства с А. А. Воспоминания мои будут, по необходимости, отрывочны и неполны. Ничего не утрачено; ничего не забыто; но все так глубоко и тяжко запало в тайники сознания, что труд воспроизведения радостно-пережитого мучителен и кажется, мгновениями, безнадежным.

В 1902 году вышел сборник стихотворений студентов С.-Петербургского Университета под редакцией прив.-доцента Б. Никольского. В сборник, выгодно выделявшийся в ряду подобных изданий удачным подбором материала, вошли два стихотворения А. Блока—поэта, никому в то время неизвестного[1]). В памяти моей эти стихотворения тогда же уместились прочно и навсегда, а неведомое имя «Блок» запомнилось и зазвучало волнующе. Стихи, подписанные этим именем и появлявшиеся в 1903 и 1904 гг. в альманахах «Гриф», в «Новом Пути» и в «Журнале для всех», входили в мое сознание воплощением томивших душу мою тайн; в созвездии поэтов благодатной эпохи начала XX-го столетия вспыхнуло новое светило—и зажглось своим особенным, небывалым и несравненным блеском. К тому времени, когда вышли «Стихи о Прекрасной Даме», у меня, наряду с страстным желанием увидеть, узнать автора книги, возникло и укрепилось чувство, которое я не могу назвать иначе, как сомнением в подлинности его существования среди нас. Казалось, что человек, в его земном образе, не может быть создателем таких слов.

Много прошло времени, прежде чем увидел я Блока. Литературные мои знакомства были ограничены; потом, когда круг их расширился, Блок долгое время оставался за его пределами. Я не упускал

---

[1]) «Чем больней душе мятежной» и «Видно, дни золотые пришли».

случая узнать что либо об Александре Александровиче; расспрашивал о нем всех, так или иначе к нему прикосновенных. Помню, В. С. Миролюбов, в то время редактор «Журнала для всех», исповедуя меня, по своей привычке, как начинающего автора, первый удовлетворил моей любознательности, сообщив мне, что А. А. «высок, широкоплеч, крепок здоровьем, женат и видимо счастлив». Вл. Пяст отзывался о Блоке в выражениях восторженных, но недостаточно определенных: преобладали эпитеты «прекрасный» и «божественный». Поэт А. А. Кондратьев, человек терпеливый, общительный и изысканно-любезный, рисовал более точные образы: помнится, он сравнивал очертания лица Блока с профилями на древних монетах, изображающих диадохов—преемников Александра Великого. С. Городецкий давал порывистые реплики, не будучи в силах сосредоточиться хотя бы на секунду, но именно он познакомил меня впоследствии с А. А.

Просматривая свой «архив» за 1905—1906 гг., я нахожу следы пережитых волнений. Дружеские приглашения поэтов неизменно сопровождаются упоминаниями о Блоке—и упоминаниями неутешительными. «Хотя Блок у меня завтра не будет, зайдите ко мне»; «Блока не будет—он всецело поглощен экзаменами» и т. п. И наконец записка от Городецкого: «будет Блок и еще несколько человек».

Поздней весною 1906 года, к вечеру светлого воскресного дня, приехал я в Лесной, на дачу к С. Городецкому (Новосильцовская ул. 5). Из собравшихся помню, кроме хозяев, А. М. Ремизова, К. А. Эрберга, П. П. Потемкина. Едва уселись за стол на балконе, как появился запоздавший несколько А. А. Первое впечатление—необычайной светлости и твердости—осталось навсегда, и в течение долгого, немеркнущего весеннего петербургского дня пополнилось новыми, радостными впечатлениями. Таким, конечно, должен был быть А. А.; таким только и мог он быть...

Описывать чью-бы то ни было наружность—трудная задача; описать наружность Блока—труд ответственный и, чувствую, для меня непосильный. Между тем, с каждого из видевших Блока спросится. Портреты и фотографические снимки не удовлетворят потомков, как нас не удовлетворяют изображения Пушкина—мы ищем живых свидетельств в записках современников, записках скудных и неопределенных, и до сих пор работою воображения пополняем недочеты изобразительных средств того времени.

В наружности всякого человека есть нечто текучее, непрестанно образуемое. Только безнадежно мертвые духом обладают установившейся, легко поддающейся определению внешностью. «Мертвые души»

Гоголя—благодарный материал для художников даже недаровитых. Чем напряженнее и богаче духовная жизнь, тем больше в облике человека колебаний света и теней, тем неуловимее переходы от духа к материи, тем разнообразнее его видимые явления. И притом, по необычайно-меткому выражению В. В. Розанова, человек бывает сам собою лишь в редкие минуты, когда он обретается «в фокусе» своего я.

Прошло более 15 лет с того дня, как увидел я впервые Александра Александровича; образы живого Блока встают в моей памяти, надвигаясь друг на друга, затуманиваясь мгновениями и озаряясь потом волшебным светом. Черты внешнего величия пребывают неизменно; но, тон, окраска, даже протяженость форм, соотношение линий—меняются в игре душевных сил.

В тот весенний день увидел я человека роста значительно выше среднего; я сказал бы: высокого роста, если бы не широкие плечи и не крепкая грудь атлета. Гордо, свободно и легко поднятая голова, стройный стан, легкая и твердая поступь. Лицо, озаренное из глубины светом бледно-зеленоватыхъ, с оттенком северного неба, глаз. Волосы слегка вьющиеся, не длинные и не короткие, светло-орехового оттенка. Под ними—лоб широкий и смуглый, как бы опаленный заревом мысли, с поперечной линией, идущей посредине. Нос прямой, крупный, несколько удлиненный. Очертания рта твердые и нежные—и в уголках его едва заметные в то время складки. Взгляд спокойный и внимательный, остро и глубоко западающий в душу. В матовой окраске лица, как бы изваянного из воска, странное в гармоничности своей сочетание юношеской свежести с какой то изначальною древностью. Такие глаза, такие лики, страстно-бесстрастные—на древних иконах; такие профили, прямые и четкие—на уцелевших медалях античной эпохи. В сочетании прекрасного лица со статною фигурой, облеченной в будничный наряд современности—темный пиджачный костюм с черным бантом под стоячим воротником—что-то, говорящее о не-русском севере, может быть о холодной и таинственной Скандинавии. Таковы, по внешнему облику, в представлении нашем, молодые пасторы Христиании или Стокгольма; таким, в дни подъема и твердости душевных сил, являлся окружающим Иеста Берлинг, вдохновенный артист, «обольститель северных дев и певец скандинавских сказаний».

Конечно, я не запомнил в точности разговоров того вечера. Беседа велась в буднично-шутливом тоне; темою служили по преимуществу события текущей литературно-художественной жизни. Сидя над тарелкой с холодным мясом, А. А. спокойно и внимательно при-

слушивался к перекрестным застольным разговорам и лишь изредка давал ответы на порывистые замечания Городецкого, толковавшего о сборнике «Факелы», и тут же, при помощи нескольких спичек, изображавшего эти факелы в натуре. Кажется, в эти дни А. А. покончил с государственными экзаменами и не без удовольствия сообщил, что продал свое студенческое пальто. Из высказанного им помню, что на чей то вопрос — кого он более ценит, как поэта, Бальмонта или Брюсова, А. А. ответил, не колеблясь, что—Бальмонта.

Встав из за стола, пошли в парк и долго бродили в окрестностях Лесного, руководимые Городецким. Весеннее, несколько приподнятое настроение владело всеми. Городецкий проявлял его бегом и прыжками, умудряясь на ходу цитировать и пародировать множество стихов, своих и чужих; А. М. Ремизов подшучивал над Эрбергом, именуя его «человеком в очках» и утверждая, что он впервые видит деревья и траву и крайне всему этому удивляется; Блок мягко улыбался, храня обычную неторопливость движений и внимательно ко всему прислушиваясь. Встретив на дорожке преграду в виде невысокого барьера, Городецкий через него перепрыгнул и предложил то же сделать другим; кое кто попытался, но Блок, помню, обошел барьер спокойно и неторопливо.

Вернувшись, уселись в круг и принялись за чтение стихов.—Та пора—1906 г.—была порою расцвета поэтической школы, душой которой и тогда уже был Блок, а главою которой был признан много лет спустя. Каждый день дарил поэзию новыми радостями, и роскошество ее стало для нас явлением привычным. Но, даже избалованные обилием красоты, внимали мы в тот вечер с наново напряженным благоговением Блоку, прочитавшему три свои недавние, никому из нас не известные стихотворения: «Нет имени тебе, мой дальний», «Утихает светлый ветер» и «Незнакомка».

Я впервые слышал Блока; впервые к магии его слов присоединилась для меня прелесть голоса, глубокого, внятного, страстно-приглушенного. Тысячи людей слышали за последние годы, как говорит и читает Блок; они, конечно, не забудут. Но что останется другим, тем, кто от нас узнает имя Блока? Свистящая грамофонная пластинка, передающая произведенную в 1920 г. запись голоса А. А.— прослушав которую, он, по словам очевидцев, помолчал и сказал потом: «Тяжелое впечатление...»

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота—отличительное свойство этого чтения. Простота—в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица,

повышений и понижений тона. И простота—как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно-глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, созидаемой и утверждающейся. Ни декламации, ни поэтичности, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей—и всех очаровывая.

Так было и в тот памятный день. Названные мною три стихотворения—и «Незнакомка» по преимуществу—были началом, сердцем новой эры его творчества; из них вышла «Нечаянная Радость». Помню, «Незнакомка», недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке «загородных дач», после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно-тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей, читал эти стихи вновь и внов.

Вслед затем читали другие; но из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое в начале, улеглось: разговоры повелись шопотом. А. А. с обычной готовностью записал кое кому стихи в альбомы и с улыбкою подошел ко мне—благодарить за только что присланные стихи, ему посвященные. Стихи были слабые, и я чувствовал себя до крайности смущенным; не останавливаясь на них, А. А. перешел к прочитанным мною в тот вечер стихотворениям. Несколько слов его, как всегда неожиданных и внешне смутных, были для меня живым свидетельством его пристального внимания. Просто—и я это ясно понял—не в формах обычной литераторской общительности А. А. пригласил меня навестить его; тогда же мы условились о дне встречи, и А. А. сделал то, что часто делал и в дальнейшем и что каждый раз внушающе на меня действовало: вынул записную книжку небольшого размера и пометил в ней день и час предположенного свидания. Черта аккуратности—эта далеко не последняя черта в сложном характере Блока—впервые открылась мне.

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую—кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке—фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу—тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество. И у стола—хозяин, навсегда мне отныне милый. Прекрасное, бледное в полумраке лицо; широкий, мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная черная блуза—черта невинного эстетизма, сохраняемая исключительно в пределах домашней обстановки. Таким изображен он на известном фотографическом снимке того времени; таким я видел его не раз и в дальнейшем; но, насколько знаю, никогда не появлялся он в этом наряде вне дома. В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет как все, в пиджачный костюм или в сюртук, и лишь иногда пышный черный бант вместо галстуха заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетичиской черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество—в покрое платья, в подборе мелочей туалета сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, повидимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда—даже в последние трудные годы—ни пылинки на свеже-вытюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе, как на расправку. Ботинки во всякое время начищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над тол, пой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязанная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Возвращаюсь к вечеру на Лахтинской, к полумраку рабочей комнаты, где, в просторной черной блузе, Блок предстал мне строй-

ным и прекрасным юношей итальянского Возрождения. Беседа велась на темы литературные по преимуществу, если можно назвать беседой обмен трепетных вопросов и замечаний с моей стороны и прерывистых, напряженно-чувствуемых реплик А. А, идущих как бы из далекой глубины, не сразу находящих себе словесное выражение. Неожиданным, по началу, показалось мне спокойное и вдумчивое отношение А. А. к лицам и явлениям поэтического мира, выходившим далеко за пределы родственных ему течений. Школа, которой духовным средоточием был он, не имела в нем слепого поборника—мыслью он обнимал все живое в мире творчества и суждения свои высказывал в форме необычайно мягкой, близкой к неуверенности. О себе самом, невзирая на наводящие мои вопросы, почти не говорил, но много и подробно расспрашивал обо мне и слушал мои стихи; не проявляя условной любезности хозяина или величавой снисходительности маэстро, ограничивался замечаниями относительно частностей, или же просто и коротко, но чрезвычайно убежденно говорил, правдиво глядя в глаза: «нравится» или «вот это не нравится». Так, насколько я заметил, поступал он в отношении всех.

Когда я уходил, за стеною кабинета, в смежной квартире, раздалось негромкое пение; на мой вопрос—не тревожит ли его такое соседство, А. А., улыбаясь, ответил, что живут какие то простые люди, и чей то голос поет по вечерам: «Десять любила, девять разлюбила, одного лишь забыть не могу»—и что это очень приятно. Еще одна черта Блоковского гения открылась мне, прежде чем певец Прекрасной Дамы, Незнакомки и Мэри сказался по новому в стихах о России.

После того виделся я с Блоком часто. С Петербургской Стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там, в доме № 41, кв. 4. От ряда посещений—всегда по вечерам—сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в 3—4 комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор». Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящнаго. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной обстановки. Дви-три гравюры по стенам, и в шкапах

и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью. И в атмосфере чистоты, легкости, свободы—он, Александр Блок, тот, кто вчера создал, может быть, непостижимые, таинственные строки и кто сегодня улыбается нежной улыбкой, пристально глядя вам в глаза в чьих устах ваше примелькавшееся вам имя звучит по новому, уверенно и значительно. Вечер проходит в беседе неторопливой и—какова бы ни была тема—радостно-волнующей. Отдельные слова, как бы добываемые, для большей убедительности, откуда то из глубины, порою смутны, но неизменно точны и выразительны.

По собственному почину, или, может быть, угадывая мое желание, А. А. читает последние свои стихи и—странно—очень интересуется мнением о них. Выражение сочувствия его радует, а замечаниям, редким и робким, он противопоставляет, по детски искренно, ряд объяснений. Бурные общественно-политические события того времени своеобразно преломляются в душе А. А. и находят себе, в беседе, особое, звуковое, внешне-искаженное выражение. Чувствуются настороженность и замкнутость художника, оберегающего свой мир от вторжения враждебных его целям стихий. С наивным изумлением узнает А. А., что я не только пишу стихи, но и временами вплотную подхожу к общественной жизни и пытаюсь принять в ней участие. Об обстоятельствах обыденных расспрашивает он меня с опасливым любопытством человека из другого мира О себе говорит мало. Ни самодовольства, ни самоуверенности в человеке, чье имя уже звучит как слава, чья личность окружена постепенно-наростающим культом.

Переходим в столовую и пьем чай. Молчаливо присутствует Любовь Дмитриевна, жена А. А. Большой любитель чаепития, А. А. совершает этот обряд истово и неторопливо. Курит, с глубоким вздохом затягиваясь. В изгибе крупных пальцев, крепко сжимающих папиросу, затаенная, сдержанная страсть.

Прощаюсь — и заранее знаю, что в последний миг встречу глубокий, чистый и пристальный взор, как бы договаривающий недоговоренное.

Тогда, в 1906 году, начал встречаться с Блоком и у общих наших знакомых — на вечерах у гостеприимного А. А. Кондратьева, патетического Пяста, на «средах» у Вячеслава Иванова. А. А., покончивший только что с государственными экзаменами, вновь стал доступен дружеской среде. Помню его здоровым, крепким, светло улыбающимся — как входит он, с тревожной надеждой ожидаемый многими, держа руку с отставленным слегка локтем в кармане пиджака, с поднятою высоко головою. В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем не переходя на короткую ногу, не впадая в сколько нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромен и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества даже случайных знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеяных маэстро, имя которым легион. Молчаливый в общем, ни на секунду не уходил в обществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. На вечере у Пяста, слушал, сочувственно улыбаясь, пародии Потемкина на себя, на А. Белого, на Вячеслава Иванова; принял потом как и все, участие в неизменных буримэ и, чуждый притязаний на остроумие, писал на бумажке незамысловатые слова. Так, сидя рядом со мной и получив от меня начало:

«Близятся выборы в Думу,
Граждане, к урнам спешите»,

продолжил он приблизительно в таком роде:

Держите, ловите свирепую пуму,
Ловите, ловите, держите!

Еще не так давно, в минувшем 1920 году, придя на Собрание Союза Поэтов, уставший и измученный, играл он, вместе со многими, ему далекими и чуждыми, в ту же игру — и не стяжал, конечно, приза.

«Чуждый притязаний на остроумие» написал я выше. Можно сказать больше. Остроумие, как таковое, как одно из качеств, украшающих обыденного человека, вовсе не свойственно было А. А. и проявляемое другими, не располагало его в свою пользу. Есть, очевидно, уровень душевной высоты, начиная от которого обычные человеческие добродетели перестают быть добродетелями. Недаром в

демонологии Блока столь устрашающую роль играют «испытанные остряки»: их томительный облик, наряду с другими гнетущими явлениями, предваряет пришествие Незнакомки в стихах и в пьесе того же имени. Представить себе Блока острословящим столь же трудно, как и громко смеющимся. Припоминаю — смеющимся я никогда не видел А. А., как не видел его унылым, душевно-опустившимся, рассеянным, напевающим что либо или насвистывающим. Улыбка заменяла ему смех. В соответствии с душевным состоянием переходила она от блаженно-созерцательной к внимательно-нежной, мягко-участливой; отражая надвигающуюся боль, становилась горестно-строгой, гневной, мученически-гордой. Те же, не поддающиеся внешнему, мимическому и звуковому определению, переходы присущи были и его взору, всегда пристальному и открытому, и голосу, напряженному и страстному. Но в то время, в годы, когда создавалась «Нечаянная Радость», и улыбка, и взор и голос запомнились мне светлыми и спокойными. Магическое таилось в тайниках души, невозмущаемое соприкосновением со стихиями жизни. «Так. Неизменно все как было» — эти стихи записал мне в альбом А. А. в конце 1906 года, объяснив, что в них ответ на мои смутные, вновь и вновь высказываемые опасения измены...

В числе немногих, посещал Блок в то время милого и гостеприимного, благодушного не без лукавства А. А. Кондратьева. Вечера, на которые хозяин собирал гостей, не стесняясь различием школ и вкусов, проходили шумно и не без обильных возлияний. А. А. не отстранялся от участия в общем веселье. Помню вечер, затянувшийся до утра, когда выпито было все, что нашлось в доме, вплоть до только что заготовленной впрок наливки. Среди гостей, расположившихся в вольных позах на диванах и по коврам, благодушно и доброжелательно улыбающийся А. А., уже прочитавший множество стихов и слушающий невполне членораздельные вдохновения присутствующих. Кто то в порыве одушевления предложил, за невозможностью продолжать веселье у хозяина или где либо в ресторане, посетить «приют любви». Мысль встретила решительное сочувствие; взоры некоторых обратились на А. А. Не желая, повидимому, выделяться, он просто и скромно согласился принять участие, но выразил надежду, что предполагаемая поездка «ни к чему не обязывает» каждого участника в отдельности. Через несколько минут, впрочем, предложение было забыто.

В ту же зиму — 1906 — 1907 года не раз встречал я Блока на средах у Вячеслава Иванова, памятных, вероятно, многим. На среды

собирался весь художественный и интеллектуальный Петербург, являлись гости из Москвы и из провинции, и едва ли европейски-любезные хозяева знали в лицо всех присутствовавших. Читались заранее намеченные доклады или предлагалась тема для дискуссий; председатель усаживался за стол и начиналось словесное роскошество. Темы художественно-литературные, научно-философские и общественно-политические переплетались в сложной игре мудрословия, оплодотворенного эрудицией, и остроумия, вдохновленного наитием. Не помню, чтобы принимал участие в этих беседах Блок; но помню, как выходил он, по окончании словопрений, читать стихи — и знаю: многие и многие из собравшихся, считая минуты, ждали этого мига. Стройный и высокий, в черном сюртуке с черным бантом, становился он у стола — и забывались и обесценивались итоги с таким напряжением проведенных дискуссий.

Кроме сред Вячеслава Иванова показывался Блок в то время более широкому кругу лиц на собраниях литературно-художественного кружка «молодых» при С.-Петербургском университете и на открытых его вечерах. Мне запомнился 3-ий вечер кружка, 1-го февраля 1907 года, когда М. А. Кузьмин читал, сопровождая музыкою, свои «Куранты любви», а А. А. — пьесу «Незнакомка». (Эту же пьесу прочел он перед тем, в тесном кругу, у себя дома, 12 января 1907 г.), Впервые, кажется, в Петербурге представители новой поэзии лицом к лицу сошлись с публикою, настроенною частью пассивно-выжидательно, частью настороженно. Помню перешептывания, отдельные недоуменные и иронические возгласы; но помню и трепетную настороженность слушателей, наполнивших старую физическую аудиторию Университета и ловивших слова четкие, чистые, волшебно-внушающие. В этот вечер новая поэзия одержала первую победу над косною стихией толпы; и увы! с этого вечера новая поэзия вошла в массы и превратилась в обиходно-литературный материал.

1907 год начался для Блока «Снежною маскою». В тридцати стихотворениях этого цикла, написанных, по словам А. А., в 2 недели, отразилась напряженность налетевших на поэта вихрей. «Простите меня за то, что я все еще не писал Вам,

несмотря на то, что мне хочется и видеть Вас и говорить с Вами. Все это оттого, что я в очень тревожном состоянии и давно уже», пишет Блок мне 11 февраля 1907 г. Таким, тревожным, и вспоминаю я Блока в этот период, и следы этой тревоги проходят через ряд лет.

В 1907 г. — та же квартира на Галерной, и лишь круг друзей несколько изменился. Театральный мир заявляет о себе. В столовой, за чайным столом, артистки театра Комиссаржевской В. П. Веригина и Н. Н. Волохова, В. Э. Мейерхольд, С. А. Ауслендер. Разговоры на театральные темы преобладают. Узнаю, что в прежние годы А. А. не раз выступал на сцене, играя даже Гамлета и Чацкого. — В биографии А. А. останется горестный пробел, если никто из видевших его в этих ролях не поделится с читателями своими впечатлениями. Думается мне, что не одно только любительство должно было проявиться в игре Блока: сочетание на сцене единственного, вне сравнения, поэта-чтеца с человеком — глубоко не актером, должно было дать единственные, разительные результаты.

Не помню отдельных посещений Блока в 1907 г.; жил он тогда отгораживаясь от внешнего мира и изредка собирал у себя близких знакомых. Литературная известность, которой, по выражению Блока, «грош цена», уже стучалась к нему в двери и томила его до такой степени, что номер своего телефона он сообщал лишь немногим и в списке телефонных абонентов не значился. Вспоминаю осенний день, когда, не предупредив, зашел я к А. А. на Галерную. Прислуга сообщила, что хозяина нет дома, и лишь через две-три минуты догнала меня на улице. А. А. был дома, один, но боялся нежданных посещений...

Драмою «Фаина» (Песня судьбы) закончился период бурь. В ней, в ее последних строках, в песне путника — весть о России, возврат к надежде. Эту драму читал он, собрав многочисленное общество, у себя на дому, 1-го мая 1908 г. («Если не боитесь длинного чтения, приходите пожалуйста...» — черта обычной скромности в пригласительном письме от 28 апреля). В чтении «Фаины», в словах этой драмы, мучительной, слишком личной, литературно-неудавшейся, чувствовалась и болезненно воспринималась ужасающая усталость; по окончании чтения, А. А., сохраняя, как всегда, пристальное внимание к словам присутствующих, не примкнул, однако, к завязавшейся беседе и слушал молча. Мелочь: будучи в некоторой мере специалистом, я «в обуви ошибку указал» — отметил, что локомотивы, фигурирующие в выставочном зале, не могут быть

«с большими маховыми колесами», как прочитал автор; А. А. пытался отстоять свое понимание, но затем, признав мое превосходство, тут же заменил маховые колеса ведущими.

Личные обстоятельства надолго, затем, отвлекли меня от литературной жизни, и с 1909 по 1913 год встречи мои с Блоком были редкими и случайными. С неослабевающим интересом встречая каждое его новое слово, издали следя за его жизнью, храня к нему благоговейную любовь, я уклонялся в то время, в силу тягостного своего душевного состояния, от непосредственной близости с А. А. и с мучительным чувством отклонял при встречах его дружеские приглашения. Помню его за эти годы в различных обликах. Ранней весною 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного, гордого лица, и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына; чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ. На первом представлении «Пелеаса и Мелисанды» сидел он в партере рядом с женою, являя и осанкою, и выражением лица, и изяществом костюма вид величия и красоты; в цирке Чинизелли, в зимнем пальто и в каракулевой шапке, наклонялся к барьеру, внимательно всматриваясь в движения борцов; и — припоминаю смутно — видел я его в угарный ночной час, в обстановке перворазрядного ресторана, в обществе приятеля-поэта, перед бутылкою шампанского; подносил ему розы и чувствовал на себе его нежную улыбку, его внимательный взор... Так продолжалось до 1914 года, когда тяжелая нервная болезнь разлучила меня с Петербургом — и с Блоком.

В санатории под Москвою, в июне 1914 года, получил я, в ответ на письмо и на стихи, посланные Блоку, письмо из с. Шахматова, ценное для меня по силе дружеского сочувствия и показательное в отношении душевного склада автора. Привожу это письмо в части, представляющей общий интерес:

«Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной; *оно* так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлю с ответом. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь.

Во многие лечения, особенно — природные, как: солнце, электричество, покой, морские воды, я очень верю; знаю, что если *захотеть*, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать *хотеть* излечиться; я бывал на этой границе, но пока что, выходила как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя страстно ждал этой счастливой карты...

Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире нет. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда же эта тайная страсть к жизни? Я вам не хвастаюсь, что она во мне сильна; но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие. Знаем мы *то*, узнать надо и это: жить «по человечески»; после *«ученических годов» — годы странствий...»*

Воля к жизни восторжествовала или выпала, может быть «счастливая карта»: в январе 1915 года я вернулся в Петербург и втечение семи лет близко наблюдал, как горела, меркла, разгоралась и угасла, наконец, эта воля в том, кто был в эти последние годы сердцем России, ее красотою и оправданием.

Квартира на Офицерской, небольшая и незагроможденная, как и прежние квартиры. Отличие в том, что перед окнами не двор, не стена, а простор пустынной набережной Пряжки, и днями бьет в окна яркий солнечный свет. Тихо и спокойно, и величаво, и передо мною все тот же светлый, с пристальнім взором, с приглушенным голосом, Блок. Годы прошли над ним; бури жизни обветрили прекрасное лицо; гибельные пожары опалили чело заревом; но в открытом взоре — холод и свет алмазного сердца.

По свежему следу пережитого беседа вступает в область болезней души — и странным образом переплетается с темами войны.

Может быть потому, что мысли о войне и тяжкие предчувствия свойственны были мне и таинственно связаны с моею болезнью, и никто явственнее, чем Блок, не чувствовал связи между стихиями, потрясающими мир, и бурями, волнующими душу. И в начале 1915 года и в дальнейшем, вплоть до 1917 г. отношение Блока к военным событиям нельзя было назвать иначе как безличным — не в смысле безразличия, а в смысле признания за ними свойств стихийных, поглощающих волю. Ни тени одушевления, владевшего — искренно или наигранно — интеллигентным обществом того времени, не проявлял А. А. в этих беседах; с другой стороны, не высказывал он, в сколько-нибудь определенной форме, активно-отрицательного отношения к происходящему. В разговорах того времени, как и в стихах, он поминал Россию, томился по России, ждал ее...

При дальнейших свиданиях, нередких в 1915 году, попытки мои определить в нем личное чувство, сколько-нибудь близкое к гражданскому в действенном смысле этого слова, встречали неизменный неуспех. Переживая войну, как грозу, томимый еще более грозными предчувствиями, он исключал свою волю из сферы действующих сил и лишь напряженно прислушивался к голосам стихий. В дни, когда знамения были, казалось, благоприятны, темнел он душою и ждал иного. Мне не забыть светлого воскресного дня, в кабинете на Офицерской, когда прочитал он стихи, которыми начинается «Седое утро». — «Будьте ж довольны жизнью своей — тише воды, ниже травы», глухо и угрожающе, подавляя волнение, произносил он, и когда, пораженный без'исходностью отчаяния этих строк, я выразил изумление, он пояснил, помолчав: «тут отступление на заранее подготовленные позиции...»

С той поры, при каждом свидании — на Офицерской, у меня дома и во время частых прогулок по окраинам Петроградской стороны, где в 1915 — 1916 г.г. любил бродить А. А., беседа неизменно начиналась «о России». Признаки упадка, ставшие для меня очевидными, встречали со стороны А. А. то безличное отношение, которое на первый взгляд казалось «нигилистическим» и за которым чувствовалась безграничная, жестоко подавляемая жалость и упорная вера в неизбежность единственного, крестного пути. Построения прогрессивных умов и вся психика входившей тогда в силу интеллигенции были глубоко чужды А. А.; помню, с интересом и сочувствием слушал он на прогулках мои полушуточные стихи на эти темы и скорбел о невозможности их напечатать. Резкое несходство

наших взглядов на некоторые вопросы теряло свою остроту. Более понимающего собеседника я не встречал. Аргументация Блока основывалась на общности чувств; доводы, смутные по форме, извлекались с каким то творческим напряжением из глубины того же чувства, и, будучи для логики отнюдь не убедительными, открывали новые области восприятия и понимания.

Петроградская сторона была в то время излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного Дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление — что нибудь из виденного тут же, в саду. Ходим между «аттракционами»; А. А. прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, с соседями по очереди?» спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.

Тут, в Народном Доме, убедился я как-то, что физическая сила А. А. соответствует его внешности. Подойдя к пружинным автоматам, стали мы пробовать силу. Когда то я немало упражнялся с тяжестями и был уверен в своем превосходстве; но А. А. свободно, без всякого напряжения, вытянул двумя руками груз значительно больше моего. Тут же поведал он мне о своем интересе к спорту и, в частности, о пристрастии к американским горам. Физическою силой и физическим здоровьем наделен он был в избытке и жаловался, как то, на чрезмерность этих благ, его тяготящую.

Заходя по вечерам в кафе Филиппова на углу Большого пр. и Ропшинской ул., нередко встречал я там за столиком А. А. Незатейливая обстановка этого уголка привлекала его почему то и он, вглядываясь в публику и прислушиваясь к разговорам, подолгу просиживал за стаканом морса. «Я ведь знаю по имени каждую из прислуживающих девиц, и о каждой могу рассказать много подробностей», — сказал он мне однажды. «Интересно». Посидев в кафе, ходили мы вместе по Петроградской стороне и, случалось, до поздней ночи. Запомнился мне теплый летний вечер, длинная аллея Петровского острова, безшумно пронесшийся мотор. «Вот из такого, промелькнувшего когда-то мотора, вышли «Шаги командора», сказал А. А. «И два варианта». («С мирной жизнью покончены счеты» и «Седые сумерки легли»). И прибавил, помолчав: «Только слово мотор нехорошо — так, ведь, говорить неправильно».

Жизнь, неотступная, предъявила свои требования и к Блоку. Уже за несколько дней до призыва сверстников — ратников ополчения, родившихся в 1880 году, А. А. начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мною он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величию, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения А. А. были детски-беспомощны и не обоснованы, как у других, принципиально... «Ведь можно заразиться, лежа в повалку, питаясь из общего котла... ведь грязь, условия ужасные... Я мог бы устроиться в *** девизии, где у меня родственник, но... не знаю, стоит ли». Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.

«Мне легче было бы телом своим защитить вас от пули, чем помогать вам устраиваться», полушутя, полусерьезно говорил я А. А. «Видно, так нужно», возражал он. «Я все таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была «в нетях». Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит».

Я познакомил А. А. с инженером К., видным деятелем Союза Земств и Городов по организации инженерных дружин, и в последний момент А. А., за невозможностью подыскать что либо более подходящее, был зачислен в табельщики и направлен на фронт.

Письмо А. А., сообщающее об этом и помеченное 8-ым июля 1916 года, кратко; вот оно:

«Вчера я зачислен в табельщики 13-ой инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше — не различаю: «жизнь на Офицерской» только кажется простой, она сплетена хитро».

В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война — глупость, дрянь...» формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должности табельщика, с рабочими дру-

жины, отвечал, что с рабочими имел дело и раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. (Едва ли, конечно, нужно это понимать в буквальном смысле. Помню, как, по его словам «ругался» он в 1920 году по телефону, когда, дав согласие на участие в вечере и подготовившись к выступлению, так и не дождался обещанного автомобиля: брань его состояла в попытке истолковать устроителям вечера, что такое обращение с художником «возмутительно»).

Надо надеяться, что «военный» период жизни Блока будет освещен кем либо из близко его наблюдавших. В то время, весною 1917 года, Блок всецело отдался новому потоку. Творческие силы художника, казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало смущали его. Так, рассказывал он мне, что сидя на скамье, на одном из московских бульваров, показался он подозрительным двум солдатам; один пожелал арестовать его; другой сказал, подумав, что — не стоит, и оба ушли. Об этом случае А. А. вспоминал с мягкой и сочувственной улыбкой.

Тогда же поступил он на службу в Высшую Следственную Комиссию, занятую разбором дел представителей бывшего правительства; насколько знаю, он заведывал редакцией стенографических отчетов и лично присутствовал при допросах министров. С этого года, вообще, появился Блок «на людях» и стал встречаться, по долгу службы, с представителями «здравого смысла». В этом, может быть, величайшая из наших утрат; на этом пути обрек он себя, как художник, в жертву и отчаявшись в угодности ее, обрел мученический и пустынный конец...

Много, однако, прошло времени, прежде чем угасла, затлевая и вновь вспыхивая, прекрасная жизнь. Гордое и холодное лицо не отражало внутренней борьбы; усталость никому о себе не заявляла. А тогда, в 1917 году, переходил он, собрав последние силы, от «заранее подготовленных позиций» в тылу в безнадежное наступление.

Помню первые месяцы после октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры А. А. и отрывочные его объяснения, что это — каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять». Помню, как, склонившись над столом, составлял он наскоро открытое письмо М. Пришвину, обозвавшему его в одной из газет «земгусаром», что почему то больно задело А. А. И, наконец, вспоминаю холодный и солнечный январь-

ский день, когда прочел я в рукописи только что написанные «Двенадцать».

В те дни хранил он, как всегда, внешнее спокойствие, и только некоторая страстность интонации обличала волнение. Круг его знакомств, деловых и дружеских, расширился и изменился: завязались отношения с представителями оффициального мира, в лице новой художественно-просветительной администрации. Комиссариат по просвещению вовлек его в сферу своей деятельности: вначале готовился он принять деятельное участие в грандиозном плане переиздания классической русской литературы, а затем начал работать в Театральном Отделе, в должности председателя Репертуарной Секции. Литературное пристанище обрел он в то трудное время в лево-эсэровских изданиях: были дни, когда идеология этой партии (к которой он, впрочем, никогда не принадлежал) и даже терминология ее держали его в своеобразном плену. «Подавляющее большинство человечества состоит из правых эс-эров», сказал он мне однажды — разумея под меньшинством эс-эров левых. В дальнейшем увлечение это прошло, и лишь к многочисленным группам и кастам, претендующим на близость к Блоку, прибавилась, в истории общественности, еще одна

О «Двенадцати» написано много и будет написано еще больше Одни видят в «Двенадцати» венец художественного достижения и все творчество Блока предыдущих периодов рассматривают как подход к этому достижению; для других «Двенадцать» — стремительное падение с художественных высот в бездну низкого политиканства. О «Двенадцати» пишут и те, кто ничего, кроме «Двенадцати», из произведений Блока не читал; о Блоке, как поэте, судят люди, ничего, кроме отзывов о «Двенадцати» не читавшие.

Туман современности, еще не рассеявшийся, кутает эту поэму в непроницаемую броню; художественная ее ценность слабо излучается сквозь серую пелену и только смутно давят душу очертания тяжеловесного целого. Опубликованная в недавнем времени заметка Блока о «Двенадцати», не разъясняя ничего, подтверждает только искренность его творческих замыслов, — искренность, в которой никто из знающих Блока не сомневался.

Если художественное произведение неясно, то никакие коментарии ничего к ним не прибавят. Ясность, однако, приличествует

мысли, и поскольку в «Двенадцати» отразилось отношение Блока к современности, оно может быть освещено и проверено памятью об авторе, как человеке. В представлении многих, Блок, по написании «Двенадцати», стал «большевиком»; приняв совершившееся, понес за него ответственность. Столь примитивное толкование устраняется даже тем немногим, что доступно в настоящее время обнародованию из личных о нем воспоминаний.

«... на память о страшном годе» написал Блок на моем экземпляре «Двенадцати», а весною этого года, перебирая вместе со мною возможные названия для моей книги, сказал уверенно: «Следующий сборник (после «Седого утра»), куда войдут «Двенадцать» и «Скифы», я назову «Черный день».

Этого «страшного» и «черного» не обходил он молчанием в разговорах, не смягчая и не приукрашивая, а лишь пытался осмыслить и освятить. «Бубновый туз», по котором томятся спины «двенадцати», принимал в этих разговорах очертания рельефные и законченные; роскошество програмной фразеологии не заслоняло от него картины происходящего.

«В их социализм я не верю; социализм, конечно, невозможен; дело не в социализме», говорил он в середине 1918 года; «да и они стали другими; пережив победу, они не те, что были раньше».

В чем же «дело»? Для Блока — в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель-вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и освятил его именем Христа.

Помню, в дни переворота в Киеве и кошмарного по обстановке убийства митрополита, когда я высказал свой ужас, А. А., с необычною для него страстностью в голосе почти воскликнул: «И хорошо, что убили... и если бы даже не его убили, было бы хорошо». Говорил это человек глубоко-религиозный, вовсе не чуждый обрядности — тот самый, что в минувшем году, по поводу не вполне почтительного моего эпитета, относящегося к лицу духовному, неодобрительно нахмурился, пояснив, что очень уважает русское духовенство.

«Относитесь безлично», говорил он в трудные дни, отзываясь на мои сетования обывательского свойства; «я приучаю себя относиться безлично — это мне иногда удается». И в тягостной обстановке материальной необеспеченности, неуверенности в завтрашнем — в сегодняшнем дне, в водовороте низких страстей и фантастических

слухов «из первоисточников», пребывал он бесстрастным и смотрел, поверх мутного потока современности, вдаль...

После «Скифов» и «Двенадцати» перестал А. А. писать стихи. Неоднократно пытался я говорить с ним об этом, но об'яснения А. А. были сбивчивы и смутны. «Разреженная атмосфера... множество захватывающих и ответственных дел...» Одобрив как то мое стихотворение, он тут же высказал удивление — что «можно, оказывается, и в наше время писать хорошие стихи». «Было бы несовсем добросовестно взваливать все на трудные времена», произнес он в конце 1920 года; «мешает писать также и чрезмерная требовательность к себе». В самом начале 1921 года почувствовал он, по его словам, что «что то началось в нем шевелиться, части остановившегося механизма приходят в движение»; раннею весною стал уверенно говорить о приближении иных, допускающих творческую деятельность, условий — и тогда же заболел смертельно.

Последние годы, как отметил я выше, жил А. А. «на людях». Начав с работы в Театральном Отделе, посвятил он затем много времени и сил «Всемирной Литературе», где до последних своих дней состоял членом коллегии экспертов; председательствовал в Совете по управлению Большим Драматическим Театром, входил в состав правления Союза Писателей и других литературных организаций, основал Петроградское Отделение Союза Поэтов и долгое время в нем председательствовал.

Работу в Репертуарной Секции Театрального Отдела вел он на первых порах энергично, вкладывая в нее присущие ему внимание и добросовестность: в дальнейшем, однако, отстранился от председательствования в Секции, а затем и вовсе порвал связь с Театральным Отделом. С этим периодом (конец 1918 и начало 1919 г.г.) связано у меня воспоминание об исполненной, по поручению А. А., работе по переводу для Театрального Отдела трагедии Грильпарцера. От начала моего труда и до его завершения входил он во все подробности, давал указания и, по окончании работы, немало потратил усилий на преодоление препятствий канцелярского свойства, связанных с оплатою труда.

В качестве члена коллегии «Всемирной Литературы» и редактора Гейне, привлек он меня в конце 1918 года к переводу гейнев-

ской прозы и стихов, а затем и к редакционной работе. Изумительны и беспримерны тщательность и четкость, которые вкладывал он в свой редакторский труд; работа, на которую многие и многие из профессиональных литераторов смотрят преимущественно с точки зрения материальной выгоды, поглощала его внимание целиком. Поручив мне перевод «Путевых картин», он начал с того, что сам перевел до 10 страниц, читал их вместе со мною, внимательно прислушиваясь к моим замечаниям и вводя поправки; получив от меня начало перевода, просмотрел его, исправил и потом читал мне вслух, входя в обсуждение всех мелочей, придумывая новые и новые варианты, то и дело обращаясь к комментариям и справочным изданиям. Ряд хранимых мною писем делового свойства, посвященных переводам Гейне, является живым свидетельством редакторской заботливости Блока.

Нельзя не подивиться и той чисто внешней аккуратности, которою облекал он будничный литературный труд. С чувством смущения вспоминаю, как, сдав А. А. груду наскоро сложенных листов, получал я их тщательно сброшюрованными рукою А. А., снабженными необходимыми пометками, перенумерованными и приведенными в полную типографскую годность.

Становится до конца понятною поговорка об аккуратности — вежливости королей, когда думаешь об А. А. Не знаю случая, когда бы обращение к нему, письменное или устное, делового или личного свойства, осталось без ответа, точного и исчерпывающего. «Забывать» он не умел; но, не полагаясь на поразительную свою память, заносил в записную книжку все, что требовало исполнения. В обстановке работы соблюдал порядок совершеннейший. Помню, как удивился я, когда, весною 1921 г., говоря со мною о моих стихах, открыл А. А. ящик шкапа и достал оттуда тщательно перевязанный пакет, помеченный моей фамилией; в пакете оказались, подобранные в хронологическом порядке, все мои письма и стихи, когда либо посылавшиеся А. А., от начала нашего знакомства. Не без чувства удовлетворения пояснил он, что такого порядка держится в отношении всех своих корреспондентов и что порядок этот сберегает много времени и труда. Наблюдал я в А. А. и высшее проявление аккуратности, когда свойство это, теряя свой целевой смысл, становится как бы стихиею человеческого духа. В 1921 году, в дни, когда денежные знаки мелкого достоинства обесценились окончательно и в буквальном смысле валялись под ногами, вынул он, однажды, расплачиваясь, бумажник и, получив 15 руб. сдачи, неторопливо

уложил эту бумажку в назначенное ей отделение, рядом с еще более мелкими знаками. Труд, затраченный на эту операцию, во много крат превышал ценность денег; это знал, конечно, А. А., но, верный себе, не расценивал своего труда.

Весною 1920 года А. А. стал во главе образовавшегося в Петербурге Отделения Всероссийского Союза Поэтов. Отвлекаемый разнообразными обязанностями и делами общественного и литературного характера, он все же немало времени уделял, по началу, новой художественно-профессиональной организации; дав Союзу свое имя, как председатель, он добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального обеспечения членов союза, организовывал вечера и, в качестве рядового члена, выступал как на этих вечерах, так и в частных собраниях Союза. Однако, ни имя Блока, ни труды его не сообщили Союзу единства, не спаяли в одно целое разнообразного состава членов; невозможность творческой работы, обусловленная рядом сложных причин, чувствовалась слишком явно, и к концу года А. А., тяготясь доставшейся ему задачей, высказывался за ненужность Союза и пытался отказаться от председательской должности. Торжественная депутация, в составе почти всех членов Союза, во главе с покойным Н. С. Гумилевым, прибыла на квартиру к А. А. и почти силою вынудила у него согласие на дальнейшую деятельность. А месяца через два-три, случайное, наскоро собранное собрание поэтов, большинством 5 голосов против 4 переизбрало президиум и забаллотировало Блока, — факт, ни в малой степени, конечно, не обидный для памяти А. А., но показательный для нашего времени. А. А. принял известие о низложении своем «безлично», хотя отнюдь не равнодушно. «Так лучше», сказал он. Близкие ему люди из состава Союза не сочли нужным, из уважения к А. А., добиваться отмены импровизированных выборов, а Союз, освободившись от нравственного воздействия возглавлявшего его имени, покатился по уклону и в недавнем времени ликвидировал свои дела, породив жизнеспособное кафэ.

1917 — 1921 г.г. вывели Блока, как поэта, из его творческого уединения и тысячи людей пересмотрели и прослушали его с высоты эстрады. Впервые после революции выступил он в Тенишевском зале, весною 1917 года, а затем неоднократно появлялся на эстраде перед

публикою, вплоть до последнего своего в Петербурге выступления — в Малом театре. Готовясь к чтению, незадолго до выхода, начинал он проявлять признаки волнения, сосредоточивался, не вступал в разговоры и ходил по комнате; потом быстро выходил на эстраду, неизменно суровый и насторожившийся. Не я один поражен был, на вечере в Тенишевском зале, подбором стихов, исключительно зловещих и тоном голоса, сумрачным до гневности. — «О России, о России!» кричали ему из публики, после стихов из цикла «Пляски смерти». «Это все — о России», почти гневно отвечал он.

Здесь уместно будет припомнить, хотя бы кратко, суждения А. А. о поэзии и о поэтах, какие мне довелось слышать от него в разное время и по разным поводам. Сколько нибудь длительных бесед на темы литературные А. А. избегал — отзывы его носили характер отрывочный и, за редкими исключениями, бесстрастный. Плененности чужим творчеством я не наблюдал в нем — может быть потому, что познакомился с ним в годы, когда известные литературные влияния сыграли формирующую свою роль и гений поэта утвердился. Замечания его были подчас неожиданны и логически не убедительны; значение их становилось ясным лишь в сочетании с сокровеннейшими его мыслями о художественном творчестве. Одно для меня остается, в итоге, несомненным: всяческое литературное мастерство, все формально-поэтическое вызывало в нем отрицательное чувство. С самым понятием поэзии, с самым наименованием «стихи» мирился он лишь условно. Похвалив однажды стихотворение, мною прочитанное, тут же добавил он, что «это почти уж не стихи»; а когда, много лет тому назад, жаловался я, что стихи не пишутся, он, утешая меня, убежденно заявил, что можно не писать стихов и быть все таки поэтом.

Достижения в области стихотворной техники оставляли его глубоко равнодушным, если с ними не связывались достижения иные. В собрании Союза Поэтов, в присутствии Блока, покойный Н. С. Гумилев привел однажды, в качестве примера скромности и простоты А. А., высказанное им в коллегии «Всемирной Литературы» мнение — что «какие же теперь, вообще, поэты... вот прежде были поэты: Фет, Полонский»... Кое кто из присутствовавших улыбнулся, но А. А. с неподдельною искренностью начал отстаивать свою мысль, не пытаясь, впрочем, ее обосновать... Тогда же, на вопрос мой о Бунине, порадовал меня А. А., высказавшись о нем, как о первоклассном современном поэте; формальная, по чисто внешним признакам, отдаленность его от новых течений поэзии не оказалась для

А. А. решающим доводом. Понятно, в силу сказанного, почему, еще много лет тому назад, А. А. отдавал предпочтение Бальмонту перед Брюсовым; понятно, почему, вдумчивый и осторожный, назвал он прочтенные О. Мандельштамом стихи «артистическими»; почему, возражая многим и многим, отстаивал за Маяковским право громадного таланта и, мирясь с ужасающей словесной бутафорией И. Северянина, называл его настоящим поэтом. И одно осталось мне непонятным: как за акмеизмом, за поэтическим профессорством, за цеховой фразеологией Н. С. Гумилева, явно наигранною, не чувствовал он поражающей силы художественного творчества. К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца и даже, когда по настоянию моему, ознакомился с необычайным «У цыган», сказал мне, правдиво глядя в глаза: «Нет, все таки совсем не нравится».

Трудно заподозрить Блока в предубежденно-неприязненном отношеньи к так называемым пролетарским поэтам; казалось бы, от них должен был ожидать он обновления и сдвига. Однако, говорил о них А. А. угрюмо и неохотно, и не помню, чтобы когда нибудь высказался одобрительно. Просматривая однажды принесенную А. А. в дар Союзу Поэтов кипу стихотворных пролетарских брошюр, уныло однообразных по форме и содержанию, я заметил вскользь: «Однако, пролетарские поэты бессовестно заимствуют у «буржуазных». — «Если бы только это...» отозвался А. А. с омрачившимся взором — и перевел разговор на другую тему.

Суровый и насторожившийся, — иногда с тучею гневности на опаленном лбу, — с постепенно углубляющимися складками в углах твердого и нежного рта, вспоминается мне Блок за последние годы. Реже и реже освещалось улыбкою гордое лицо. Поразительны и непостижимы те чисто формальные изменения, которые приходилось мне наблюдать по временам в чертах лица А. А. Мимика, в смысле произвольных и рассчитанно-согласованных движений лицевых мускулов, вовсе не присуща была характеру Блока; лицо оставалось поверхностно спокойным. Но, выходя из «фокуса» своего, менял он наружность, как никто. Древнее становилось лицо, глуше его окраска; удлинялся, казалось, нос и выделялись неожиданно крупные уши; — и опять, в светлый миг, стремительно молодел он, и божественная улыбка приводила черты лица в гармонию.

Таким, юным и сильным и радостным вспоминается он мне на вечере Народной Комедии, осенью 1920 года, в Народном Доме. Искренне воодушевленный успехом, сопровождавшим игру участников — и в том числе Л. Д. Блок-Басаргиной, входил он опять в жизнь, вникал в ее легкие и томительные мелочи, дышал впечатлениями виденного; даже об умирающем Союзе Поэтов говорил с живостью и делился своими планами. Наиболее явственно отражалось его настроение в походке. В моменты подъема душевного становилась она необычайно легкой и упругой. Из сумрака памяти встает передо мной давний, юный Блок: вижу его в фойе театра; стремительно проходит он — как бы несется, как бы летит, не касаясь пола, через переполненный зал, рука об руку с спутницей. Воздушный плащ ее развевается, откинутый назад в неудержимом движении, а сам он — как архангел, влекомый светлою силою...

И опять другим, благодушным и детски-простым, припоминается мне Блок в спокойные вечерние часы, за стаканом чаю, после напряженной, ставшей необходимою, беседы на общественные темы. Удовлетворяя любопытству моему и моей жены, характеризует среду артистов, с которой, по должности председателя театрального совета, приходится ему соприкасаться; с почтительностью неискушенного в делах жизни человека отзывается об их успехах на материальном поприще; напившись чаю, улыбается, уподобляя себя, по ублаготворенности и полноте облика, некоему заслуженному артисту. Потом, вспомнив о посещении театра высокопоставленным лицом, оживляется и, засунув руку в карман пиджака, быстро идет вдоль стены, наглядно изображая торопливую походку государственного человека. Что то детски благодушное во всех словах и движениях. Это детское проявляется порою в форме непосредственной: трогательно и необыкновенно мягко звучит «мама» и «тетя» в устах сорокалетнего человека — а между тем только так и говорил он о своих близких, даже в кругу случайных и мало знакомых людей. И неожиданно, по-детски, реагирует он, в разговоре со мною, на властный характер поэта Г.: «Не хочется иногда читать стихи, а он заставляет...»

Чистота и благородство сопровождают в памяти моей образ Блока до последних дней его жизни. Имея недоброжелателей, сам он, поскольку наблюдал я его, вовсе не знал чувства недоброжелательства (характерен в этом отношении отзыв В. Розанова — как отнесся

Блок к его резким выпадам). Чувства, отдаленно даже напоминающие злопамятство, были ему чужды. Случайно пришлось мне быть свидетелем его разговора с издателем Г., просившим А. А. высказаться о достоинствах поэта N., книгу которого он имел в виду издать. «Это поэт подлинный. Конечно, издавайте...» не колеблясь, сказал А. А.— о человеке, не подававшем ему в то время руки.

Излишне сентиментальным не был Блок в житейских и даже в дружеских отношениях, и не на всякую, обращенную к нему просьбу, сочувственно отзывался. Но, приняв в ком либо участие, был настойчив и энергичен и доброту свою проявлял в формах исключительно-благородных. Поскольку дозволительно говорит в этом очерке о себе, должен сказать я (как и многие, вероятно), что обязан А. А. безмерно многим. Не ограничиваясь душевным участием в литературных моих замыслах и трудах, делал он, в особенности в последние годы, все возможное для устроения моего материального благополучия на этом поприще. Письма А. А. ко мне последнего времени содержать, почти каждое, упоминание о тех или иных его шагах в этом направлении. В них подробные сообщения о ходе предпринятых им переговоров, искренняя радость по поводу удачи, тревога и сочувственная грусть в случае неуспеха. Перечитываю их с чувством вины и благодарности.

В начале 1919 года заболел я сыпным тифом, и в тифу заканчивал срочную литературную работу. Узнав о болезни, А. А. прислал жене моей трогательное письмо с предложением всяческих услуг; сам в многочисленных инстанциях хлопотал о скорейшей выдаче гонорара; сам подсчитывал в рукописи строки, как сказали мне потом, чтобы не подвергнуть возможности заражения служащих редакции, и сам принес мне деньги на дом — черта самоотверженности в человеке, обычно осторожном и, в отношении болезней, мнительном.

У меня хранится копия с письма, посланного А. А. в сентябре 1918 года одному из народных комиссаров, человеку, близкому к литературе. В письме этом, написанном по моей просьбе, А. А. излагает обстоятельства ареста одного из моих знакомых и, высказывая свою уверенность в его непричастности к политике, просит содействия к скорейшему разъяснению дела.

Одно из последних, написанных А. А., писем, касается участи писательницы, впавшей в бедственное положение. Заканчивая счеты с жизнью, А. А. не уходил до конца в себя и тревожился о судьбе человека, вовсе ему чужого.

На глазах у всех нас умирал Блок — и мы долго этого не замечали. Человек, звавший к вере, заклинавший нас: «слушайте музыку революции»! раньше многих других эту веру утратил. С нею утратился ритм души, но долго еще, крепко спаянная с отлетающей душой, боролась земная его природа. Тяготы и обиды не миновали А. А.; скудость наших дней соприкоснулась вплотную с его обиходом; не испытывая, по неоднократным его заверениям, голода, он, однако, сократил свои потребности до минимума; трогательно тосковал по временам о «настоящем» чае, отравлял себя популярным ядом наших дней — сахарином, выносил свои книги на продажу и в феврале этого года, с мучительною тревогою в глазах, высчитывал, что ему понадобится, чтобы прожить месяц с семьей, один миллион! «Все бы ничего, но иногда очень хочется вина», говорил он, улыбаясь скромно — и только перед смертью попробовал этого, с невероятным трудом добытого вина.

Не забыть мне тоскливой растерянности, владевшей всегда сдержанным А. А. в дни, когда пытался он безуспешно отстоять свои права на скромную квартиру, с которой он сжился за много лет и из которой его, в конце концов, все таки выселили. — «Относитесь безлично», не без жестокости шутил я, и он только улыбался в ответ, с легким вздохом.

«Что бы вам выехать заграницу месяца на два, на три, отдохнуть, пожить другою жизнью?» — сказал я однажды А. А. «Ведь вас бы отпустили... — «Отпустили бы... я могу уехать, и деньги там есть для меня... в Германии должен получить до 80.000 мар., но нет... совсем не хочется», ответил он — а это были трудные дни, когда уходили и вера, и надежда, и оставалась одна любовь.

Силы душевные постепенно изменяли А. А.; но лишь в марте этого года, после краткого подъема, увидел я его человечески-грустным и расстроенным. Необычайное физическое здоровье надломилось; заговорили, впервые внятным для окружающих языком, «старинные болезни». Перед Пасхою, в апреле 1921 года, жаловался он на боль в ногах, подозревал подагру, «чувствовал» сердце; поднявшись во 2-й этаж «Всемирной Литературы», садился на стул, утомленный.

Многим, я полагаю, памятен вечер Блока в Большом Драматическом (б. Малом) театре, 25 апреля 1921 г. Зал был переполнен; сошлись и друзья и недруги, теряясь в толпе любопытных и равнодушных. Необычайная мрачность царила в театре, слабо освещенном со сцены синеватым светом. Звонкий голос К. И. Чуковского, знакомившего публику с Блоком наших дней, звучал на этот раз глухо

и неуверенно; чувствовалась торопливость — и даже некоторая тревога. Этого настроения не развеял появившийся на эстраде Блок. Слышавшие его в другие дни знают, что не так, как в этот вечер, переживал он читаемые стихи. За привычной уже суровостью облика не замечалось сосредоточенности и страсти; в голосе, внятном и ровном, как всегда, не было животворящей силы. Читал он немного и недолго; на требование новых стихов отвечал, выходя из боковой кулисы, короткими поклонами и неохотно читал вновь; только выйдя в последний раз к рампе, с воткнутым в петлицу цветком, улыбнулся собравшимся внизу слабо и болезненно.

Через день встретил я его в редакции «Всемирной Литературы» — в последний раз в жизни. На вопрос одной из служащих редакции — почему он так мало читал, А. А. хмуро и как то не пообычному рассеянно проговорил: «Что ж... довольно...» и ушел в другую комнату. Мой последний разговор с ним оказался делового свойства: исполняя просьбу знакомой, уезжавшей заграницу и мечтавшей об издании чего либо, написанного Блоком, я спросил А. А., не хочет ли он воспользоваться этим предложением. В выражениях кратких и совершенно определенных А. А. ответил, что — нет, не хочет, что к нему иногда обращаются с такими предложениями и он их неизменно отклоняет.

Перед самою Пасхою уехал А. А. в Москву, где, больной и измученный выступил, в сопровождении К. И. Чуковского, в ряде вечеров. Вернувшись в Петербург, слег по настоянию врачей, в постель, «на два месяца», как говорили тогда. О болезни его сразу же распространились слухи различного свойства; родные, в ответ на запросы, на справки по телефону, отвечали в тоне растерянном и все более и более тревожном; личное общение с А. А. было, по свойству болезни, нежелательно.

Последнее полученное мною от А. А. письмо, от 29 мая 1921 г., касается перевода «Германа и Доротеи» и заканчивается словами: «Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цынги, нервов — такой сердечный припадок, что не сплю уже две ночи».

Письмо коротко; почерк, обычно четкий, обрывист и не вполне ясен; после подписи — черта неослабевающего и на ложе смертной болезни внимания — просьба передать поклон моей жене..

Все, что сопутствовало болезни и умиранию А. А. и что подлежит обнародованию, будет обнародовано его близкими. Мне остается сказать несколько слов о мертвом Блоке.

Я увидел его в 6-ом часу вечера 8 Августа, на столе, в той же комнате на Офицерской, где провел он последние месяцы своей жизни. Только что сняли с лица гипсовую маску. Было тихо и пустынно-торжественно, когда я вошел; неподалеку от мертвого, у стены, стояла, тихо плача, А. А. Ахматова; к 6 часам комната наполнилась собравшимися на панихиду.

А. А. лежал в уборе покойника с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щек проросли короткие темные волосы; глаза глубоко запали; прямой нос заострился горбом; тело, облеченное в темный пиджачный костюм, вытянулось и высохло. В смерти утратил он вид величия и принял облик страдания и тлена, общий всякому мертвецу.

На следующий день, около 6 часов вечера, пришлось мне, вместе с несколькими другими из числа бывших в квартире, поднять на руках мертвого А. А. и положить его в гроб. К тому времени еще больше высохло тело, приобретя легкость, несоразмерную с ростом и обликом покойного; желтизна лица стала густой и темные тени легли в его складках; смерть явственно обозначала свое торжество над красотою жизни.

И — последнее впечатление от Блока в гробу — в церкви на Смоленском кладбище, перед выносом гроба и последним целованием: темнеющий под неплотно прилегающим венчиком лоб, слабо приоткрытые, обожженные уста и тайна неизбытой муки в высоко запрокинутом мертвом лице.

С чувством горестным, близким к безнадежности, заканчиваю я строки воспоминаний. Им надлежало бы, по замыслу сердца, стать живым свидетельством отошедшего от нас величия; но — да говорит величие о себе своим единственным, внятным и в веках языком. Тесны пределы земных явлений и скудны слова; даже человеческое, сквозь восторг и благоговение, бессильны мы передать.

И — последнее, горькое для меня, как и для многих: было, казалось бы, время и была возможность, за словами, земными и по земному незначащими, услышать и узнать от него что то другое,

самое нужное, главное; и случалось — напряженное сердце бывало на грани этих единственно-нужных восприятий. Но слова обрывались; взор как будто договаривал недоговоренное, а улыбка, нежная — и теперь ясно для меня — всегда горестная, призывала мириться с непостижимостью тайны, той тайны, в которой и есть существо гения, и в которую навеки облеклась отныне благословенная тень покойного.

В. Зоргенфрей.

11 декабря 1921 г.

К. ЧУКОВСКИЙ.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БЛОКА.

«— ... Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили... Рылеева удавили, Полежаева в солдаты, Шевченку на десять годов в арестанты законопатили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголь с ума спятил... А Кольцов, Никитин, Решетников, Помяловский, Левитов? Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?»

Ив. Бунин. „Деревня".

Других поэтов мы просто любили, в Блока мы были влюблены. Когда огромными толпами мы сходились к эстраде, на которой он читал свои стихи, это было сборище влюбленных. И когда своей печальной походкой он выходил на эстраду и, почти без интонаций, без жестов, повторял перед нами стихи, которые мы знали наизусть, на всех—особенно на женских—лицах появлялось выражение такой безвольной и томной влюбленности, о какой и не мечтали другие поэты. Казалось, во всем мире мы никого не любили так нежно, как этого немолодого человека с таким спокойным и прекрасным лицом обреченного.

Он был обреченный и знал это, и оттого все его последние годы были проникнуты предсмертной печалью.

Однажды в Москве мы сидели с ним за кулисами Дома Печати и слушали, как на подмостках какой то словоблуд, которых так много в Москве, весело доказывал толпе, что Блок, как поэт, уже умер: «Я

вас спрашиваю, товарищи, где здесь динамика? Эти стихи мертвечина и написал их мертвец». Блок наклонился ко мне и сказал:

— Это правда.

И хотя я не видел его, я всею спиною почувствовал, что он улыбается:

— Да, я действительно умер. Это он сказал правду.

Тогда я возражал ему, но теперь вижу, что все эти последние годы, когда я встречался с ним особенно часто и наблюдал его изо дня в день, были годами его умирания. Заболел он лишь в марте 1921 года, но начал умирать гораздо раньше, еще в 1918 году, в самый разгар революции, сейчас же после написания «Двенадцати» и »Скифов». День за днем по непонятной причине умирал великий поэт в полном расцвете своего дарования и, что бы он ни делал, куда бы ни шел, он всегда ощущал себя мертвым. Болен он не был. Напротив. У него еще хватало силы тоскать на спине из дальних кооперативов капусту, дежурить по ночам у ворот, носить обледенелые дрова к себе на четвертый этаж, но даже походка его стала похоронная, как будто он шел за своим собственным гробом. Нельзя было смотреть без тоски на эту страшную, неторопливую походку, такую величавую и такую печальную.

Он умер сейчас же после написания «Двендцати» и «Скифов», потому что именно тогда с ним случилось такое, что в сущности равносильно смерти. Он онемел и оглох. То-есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух, который был свойствен ему одному, и тот серафический голос, которым обладал он один, покинули его навсегда. Все для него вдруг стало беззвучно, как в могиле. Он рассказывал, что, написав «Двенадцать», несколько дней подряд слышал непрекращающийся не то шум, не то гул, но после замолкло и это. Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую эпоху он вдруг ощутил как беззвучие.

В марте этого года мы проходили с ним по Дворцовой площади и слушали, как громыхают кронштадтские орудия.

— Для меня и это тишина, — сказал он. — Меня клонит в сон под этот грохот... Вообще в последние годы мне дремлется.

Самое страшное было то, что в этой тишине он перестал творить. Едва только он ощутил себя в могиле, он похоронил даже самую мысль о творчестве. То-есть он писал, и писал много, но уже не стихи, а протоколы, казенные бумаги, заказанные статьи.

Ему говорили:

— Составьте список ста лучших писателей.

И он покорно составлял не один, а даже несколько списков и шел своей похоронной походкой Бог знает куда на заседание, где эти списки обсуждались, браковались и гибли.

Ему говорили:

— Напишите пьесу из быта древних египтян.

И он покорно брал Масперо и садился за выполнение заказа.

Ему говорили:

— Проредактируйте сочинения Гейне.

И он на целые месяцы погружался в кропотливую работу сверки текстов, читал множество бездарных переводов и, выбрав из них наименее бездарные, переделывал и перекраивал их, и писал переводчикам длинные письма о том, что такая то строка подлежит переделке, а в такой то не хватает слога.

Ему говорили:

— Дайте отзыв о рукописях, которые надлежало бы возможно скорее издать.

И он с той же добросовестностью гения писал несколько рецензий подряд о случайных, первых попавшихся книгах. Помню, на одном из заседаний редакционной коллегии Деятелей Художественного Слова он читал написанные им по заказу статьи о Дмитрии Цензоре, Георгии Иванове, Мейснере, Долинове, и таких статей было много, и работал он над ними усидчиво, но стихов уже не писал.

Какой то русский дьявол, из самых тупорылых, почему то решил, что будет гораздо лучше, если великий национальный поэт вместо писания стихов будет коченеть на заседаниях. Участие поэта в революции понималось именно так: бери портфель, иди на заседание. А если не хочешь, умри. Мы не дадим тебе даже той мокрой капусты, которую ты несешь на спине с заседания. И когда он, певец революционных пожаров, вдруг увидел, что пожаров нет, а есть лишь мертвая тоска заседаний, он почувствовал, что умирает.

Еще в 1918-м году, в ноябре, когда он служил в Театральном Отделе, он говорил мне, что теперь у него нет ничего, даже снов:

— Всю жизнь видел отличные сны, а теперь нет снов. Либо не снится ничего, либо снится служба: телефоны, протоколы, заседания.

Но творчество его прекратилось не потому, что у него не было времени, и не потому, что условия его жизни стали чересчур тяжелы, а по другой более грозной причине. Конечно, его жизнь была тяжела: у него даже не было отдельной комнаты для занятий; в квартире не

было прислуги; часто из за отсутствия света он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль, — с самого конца Офицерской на Моховую во Всемирную Литературу. Но не это тяготило его. Этого он даже не заметил бы, если бы не та тишина, которую он вдруг ощутил.

Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:

— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

Однажды он написал мне письмо об этом беззвучии. «Новых звуков давно не слышно», — писал он. — «Все они притушены для меня, как вероятно для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».

До той поры пространство звучало для него так или иначе, и у него была привычка говорить о предметах: «это музыкальный предмет» или «это немузыкальный предмет». Даже об одном юбилее он написал мне однажды, что этот день был «не пустой, а музыкальный».

Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружающую его музыку мира. В предисловии к поэме «Возмездие» он пишет, что в каждую данную эпоху все проявления этой эпохи имеют для него один музыкальный смысл, создают единый музыкальный напор. Вслушиваться в эту музыку эпох он умел как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их музыку.

Эта то музыка и прекратилась теперь...

Это было тем более страшно, что перед тем как затихнуть, он был весь переполнен музыкой, которая так и лилась из него через край. Он был из тех баловней музыки, для которых творить — значило вслушиваться, которые не знают ни натуги, ни напряжения в творчестве. Не поразительно ли, что всю поэму «Двенадцать» он написал в два дня? Он начал писать ее с середины, со слов:

Уж я ножичком
Полосну, полосну!

потому что, как разсказывал он, эти два *ж* в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти всё: восемь песен, до того места, где сказано:

Упокой, Господи, душу рабы Твоея.
Скучно.

Почти всю поэму в один день! Необыкновенная энергия творчества! За полгода до смерти он показывал мне ее черновик, и я с удивлением смотрел на опрятные, изящные, небольшие листочки, где в такое короткое время так легко и свободно карандашиком, почти без помарок, он начертал эту великую поэму. Никакой натуги, никаких лишних затрат вдохновения. Творить ему было так же легко, как дышать. Написать в один день два, три, четыре, пять стихотворений подряд было для него делом обычным. За десять лет до того января, когда он написал свои «Двенадцать», выдался другой такой январь, когда в пять дней он создал **двадцать шесть** стихотворений, почти всю свою «Снежную Маску». Третьего января 1907 года он написал шесть стихотворений, четвертого — четыре, восьмого — четыре, девятого — шесть, тринадцатого—шесть. В сущности, как я уже писал, не было отдельных стихотворений Блока, а было одно, сплошное неделимое стихотворение всей его жизни; его жизнь и была стихотворением, которое лилось непрерывно изо дня в день двадцать лет с 1898-го по 1918-й.

Оттого то для меня так огромен и многознаменателен факт, что это стихотворение вдруг прекратилось. Никогда не прекращалось, а теперь прекратилось. Человек, который мог написать об одной только Прекрасной Даме на одну только тему 800 стихотворений подряд, 800 любовных гимнов одной женщине, невероятный огромный молитвенник! — вдруг замолчал совсем и в течение нескольких лет не может написать ни строки!

Оттого то я и говорю, что конец его творчества, наступивший три года назад, в сущности и был его смертью.

Написав «Двенадцать» он все эти три с половиною года старался уяснить себе, что же у него написалось.

Многие помнят, как пытливо он вслушивался в то, что говорили о «Двенадцати» кругом, словно ждал, что найдется такой человек, который, наконец, объяснит ему значение этой поэмы, не совсем понятной ему самому.

Словно он не был виноват в своем творчестве. Словно поэму написал не он, а кто то другой. Словно он только записал ее под чужую диктовку.

Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой.— «Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни».— Сатира?— спросил Блок и задумался. — Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю.

Он и в самом деле не знал. Его лирика была мудрее его. Простодушные люди часто обращались к нему за объяснениями, что он хотел сказать в своих «Двенадцати», и он, при всем желании, не мог им ответить. Он всегда говорил о своих стихах так, словно в них сказалась чья то посторонняя воля, которой он не мог не подчиниться, словно это были не просто стихи, но откровение свыше[1]).

Помню, как то в июне, два года тому назад, Гумилев в присутствии Блока читал в Зубовском Институте лекцию о его поэзи и между прочим сказал, что конец поэмы «Двенадцать» (то место, где является Христос), кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто-литературный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему то прислушиваясь:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос.

Гумилев смотрел на него со своей обычной надменностью: сам он был хозяином и даже командиром своих вдохновений и не любил, когда поэты ощущали себя безвольными жертвами собственной лирики. Но мне признание Блока казалось бесценным: поэт до такой степени был невластен в своем даровании, что сам удивлялся тому, что у него написалось, боролся с тем, что у него написалось, сожалел о том,

---

[1]) Часто он находил в них пророчества. Перелистывая со мною третью книгу своих стихов, он указал на стихи: «Как тяжко мертвецу среди людей» и сказал: „Оказывается, это я писал о себе. Когда я писал это, я и не думал, что это пророчество». То же говорил он и про книгу «Седое Утро»: — «Я писал ее давно, но только теперь понимаю ее. Оказывается, она вся о теперешнем».

что у него написалось, но чувствовал, что написанное им есть высшая правда, не зависящая от его желаний, и уважал эту правду больше, чем свои личные вкусы и верования [1]).

Эта правда была для него вне литературы, и он именно за то не любил литературу, что видел в ней умаление этой правды. Он не любил в себе литератора и считал это слово ругательным. Только в минуты крайнего недовольства собою назвал он себя этим именем:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец —

осудительно сказал он о ком-то. Я спросил у него: о ком? Он ответил о себе. Была такая полоса его жизни, когда он чуть было не стал литератором. Он всегда ощущал ее, как падение.

Он не из книг, а на опыте всего своего творчества знал, что поэзия не только словесность и то обстоятельство, что нынешним молодым поколением оно ощущается именно так, казалось ему зловещим знамением нашей эпохи. Нынешние подходы к поэзии с чисто формальным анализом поэтической техники казались ему смертью поэзии. Он ненавидел появившиеся именно теперь всякие студии для формального изучения поэзии, потому что и в них ему чудилось то самое веяние смерти, которое он чувствовал вокруг.

Мне часто приходилось слышать и читать, что лицо у Блока неподвижное. Многим оно казалось окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, не мог не заметить, что напротив, оно всегда было в сильном, но еле-уловимом движении.

---

[1]) Я тогда же записал его слова о «Двенадцати» и ручаюсь за их буквальную точность. В последнее время писали, будто Блок отрекся от «Двенадцати». Это ложь. Он всегда любил эту поэму, любил слушать, как его жена, артистка Басаргина, декламирует ее с эстрады. Я спросил его, почему он сам никогда не читает ее вслух. Он сказал: «не умею, а очень хотел бы». Если он о чем сожалел, то о своем стихотворном послании к Гиппиус. «Там было одно такое слово, которое я теперь не люблю»,—говорил он мне в марте 1921 года.

Что-то вечно зыблилось и дрожало возле рта под глазами, и всеми порами как бы втягивало в себя впечатления. Его спокойствие было лишь кажущимся. Тому, кто долго и любовно всматривался в это лицо, становилось ясно, что это лицо человека чрезмерно, небывало впечатлительного, переживающего каждое впечатление, как боль или радость. Бывало, скажешь какое нибудь случайное слово и сейчас же забудешь, а он придет домой и спустя час или два звонит по телефону:

— Я всю дорогу думал о том, что вы сказали сегодня. И потому хочу вас спросить... и т. д.

В присутствии людей, которых он не любил, он был мучеником, потому что всем телом своим ощущал их присутствие: оно причиняло ему физическую боль. Стоило войти такому нелюбимому в комнату, и на лицо Блока ложились смертные тени. Казалось, что от каждого предмета, от каждого человека к нему идут невидимые руки, которые царапают его.

Когда весною этого года мы были в Москве, и он должен был выступать перед публикой со своими стихами, вдруг он заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке неподалеку от кафедры. Блок через силу прочитал два-три стихотворения и ушел из залы, и сказал мне, что больше не будет читать. Я умолял его вернуться на эстраду, я говорил, что этот в шапке — один, что из за этого одного нельзя же наказывать всех, но глянул на лицо Блока и замолчал. Все лицо дрожало мелкой дрожью, глаза выцвели, морщины углубились.

— И совсем он не один,—говорил Блок.—Там все до одного в таких же шапках!

Его все-таки уговорили выйти. Он вышел хмурый и вместо своих стихов прочел к великому смущению собравшихся, латинские стихи Полициана:

Conditus hic ego sum picture fama Philippus
Nulli ignota mee gratia mira manus
Artificis potui digitis animare colores
Speratagne animos fallere voce Diu...

Многие сердились, но я видел, что иначе он не мог поступить, что это не каприз, а болезнь.

Именно эта гипертрофия чувствительности сделала его великим поэтом, но она же погубила его, потому что можно ли существовать в наше время с такой необычайной восприимчивостью? Можно ли,

напр., так мучительно ощущать тишину, как ощущал ее он? — всем телом, всей поверхностью кожи, как мы ощущаем тепло или холод.

Порою, когда он говорил о России, мне казалось, что и Россию он чувствует всем телом, как боль.

И как всегда бывало с ним в пору тоски, он в последнее время много смеялся, но был ли еще у кого-нибудь такой печальный и попонурый смех?

Именно, понурый, тот самый, который сказался в его «Балаганчике» и «Незнакомке» — смех над собственной болью. Лирический дар погиб, но дар иронии остался, и это было единственное, что осталось у него до конца.

Наклонится ко мне во время заседания и расскажет с улыбкой, что вчера, когда он, по приказу властей, дежурил у ворот своего дома, какой то насмешливый прохожий, увидев его, сказал:

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)

Или возьмет мою тетрадь «Чукоккалу» и впишет в нее шуточный стихотворный экспромт, который сочинил по дороге. Однажды он прислал мне целую пьесу в стихах об одном из наших заседаний. Зимою позапрошлого года в ответ на мои стихотворные строки, обращенные к нему и Гумилеву, он прислал мне длинное стихотворение, которое я и хочу привести здесь, при чем необходимо сказать, что упоминаемая в этом стихотворении Роза есть небезызвестная в литературных кругах продавщица папирос и хлеба.

Нет, клянусь, довольно Роза
Истощала кошелек.

Верь, безумный, он не проза,
Свыше данный нам паек,

Без него теперь и Поза
Прострелил бы свой висок.

Вялой прозой стала роза,
Соловьиный сад поблек.

Пропитанию угроза,—
Уж железных нет дорог.

Даже (вследствие мороза?)
Прекращен трамвайный ток.

Ввоза, вывоза, подвоза
Ни на юг, ни на восток.

В свалку всякого навоза
Превратился городок.

Где же дальше Совнархоза
Голубой искать цветок?

Повторение одних и тех же рифм и смешило и угнетало, как однообразная боль. Блок говорил, что он сочинил это стихотворение по пути из «Всемирной Литературы» домой, что множество таких же рифм стучало у него в голове, что он записал только малую долю.

Замечательно, что он не побоялся ввести в эту шутку свои любимые, романтические образы: соловьиный сад, голубой цветок, Незнакомку. О голубом цветке он писал:

В этом мире, где так пусто,
Ты ищи его, найди,

И найдя зови капустой,
Ежедневно в щи клади;

Не взыщи, что щи негусты,
Будут жиже впереди...

И когда придет Локуста,
К ней в объятья упади.

Два года назад он чувствовал себя еще не окончательно погибшим и потому в конце стихотворения взял мажорный и задорный тон

Имена цветка не громки,
Реквизируют как раз,

Но носящему котомки
И капуста — ананас.

Как с прекрасной Незнакомки
Он с нее не сводит глаз,

А далекие потомки
И за то похвалят нас,

Что не хрупки мы, не ломки,
Здравствуем и посейчас.

Да-с!

Иль стихи мои негромки?
Или плохо рвет постромки
Романтический Пегас,
Запряженный в тарантас?

Он как будто и сам удивлялся, что мы еще живы, и словно дразнил кого то нашей необыкновенной живучестью: «Здравствуем и посейчас. Да-с!»

Но это был лишь временный приступ веселья, и вскоре он понял, что не ему похваляться живучестью. В своем последнем письме ко мне он, как мы увидим, отрекается от этой бодрой строки.

Остальные стихотворения гораздо мрачнее. Как то зимою мы шли с ним по рельсам трамвая и говорили, помню, о «Двенадцати»

Он говорил мне, что строчка:

Шоколад Миньон жрала

принадлежит не ему, а его жене, Любови Дмитриевне:

— У меня было гораздо хуже:

Юбкой улицу мела

но жена напомнила мне, что Катька не могла мести улицы юбкой, так как юбки теперь носят короткие, и сама придумала строчку о шоколаде Миньон.

Я сказал ему, что теперь, когда Катька ушла из публичного дома и сделалась «барышней», поступила на казенную службу, его «Двенадцать» уже устарели, так как ныне «Прекрасная Дама», Россия, воплощается уже не в образе пьяной и падшей девки, но в образе комиссариатской девицы.

— Россию, как пьяную и падшую вы еще могли полюбить но эту?...

Он ничего не ответил, и мы заговорили о другом. Но через несколько дней он принес мне листочек, где в виде пародии на стихотворение Брюсова, была изображена эта новая Прекрасная Дама,—последняя из воспетых им женщин. Женщины, которых он пел, всегда были для него не только женщинами, но огромными символами чего то иного. После Прекрасной Дамы он пел Белую Деву, Мэри, Фаину, Соловейг, Незнакомку, Снежную Деву, Деву Звездной Пучины, Кармен, Девушку из Сполето, Катьку, и вот, в конце этого длинного ряда, появилась у него новая женщина: воплощение новой России.

Вплоть до колен текли ботинки,
Являли икры вид полен,
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен.

Стихотворение было длинное. Поэт рассказывал, что, возвращаясь со службы, он нес в руке бутылку с керосином. Обольстительная кретинка была не одна: ее сопровождал некий тигроподобный молодой человек:

Когда мы очутились рядом,
Какой то дерзкий господин
Обжёг ее столь жарким взглядом,
Что чуть не сжёг мой керосин.

И я, предчувствием взволнован,
В ее глазах прочел ответ,
Что он давно деклассирован
И что ему пощады нет.

И мы прошли по рвам и льдинам,
Она—туда, а я—сюда.
Я знал, что с этим господином
Не встречусь больше никогда

Поэт пробовал смеяться над этой обольстительной кретинкой, но она оказалась сильнее его и вскоре посмеялась над ним. В мае этого года я получил от него страшное письмо,—о том, что она победила:

«... Сейчас у меня ни души, ни дела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается и все всегда болит... Итак, здравствуем и посейчас сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Через два месяца в деревенскую глушь, где я жил, прислали телеграмму, что он умер.

Когда с траурной телеграммой в кармане я ехал из города в то место, где жил, мне казалось, что эти кривые и злые домишки вправду виноваты в его смерти. Даже в названиях деревень мне чудилось что то жестокое: Черное Захонье, Страшницы, Карачуницы. Я ехал из Страшниц в Карачуницы и повторял его давнишние стихи:

Когда я уйду на покой от времен,
Уйду от хулы и похвал,
Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,
Которым я цвел и дышал.

И мне казалось, я вижу, как этого «цветущего нежностью» топчут сапогами Карачуницы.

И все же он любил Карачуницы. Он ни за что не хотел уезжать из России, как бы тяжело ему ни было в ней, и только перед смертью, по внушению врачей, стал мечтать о заграничной больнице. Покинуть Россию теперь — казалось ему изменой России. Он заучил наизусть недавно изданное стихотворение Анны Ахматовой и с большим сочувствием читал его мне и Алянскому в вагоне по дороге в Москву:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: иди сюда!
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

— Ахматова права, — говорил он. — Это недостойная речь. Убежать от русской революции — позор.

Сам он не боялся революции, очень любил ее, и лишь одно тревожило его:

— Что, если эта революция — поддельная? Что, если и не было подлинной? Что, если подлинная только приснилась нам?

Чувствовалось, что здесь для него важнейший вопрос. Ссылаясь на какую то мне неизвестную статью московского философа Б., он в последнее время отвечал на этот вопрос отрицательно.

К тем писателям, которые, убежав из России, клевещут на оставшихся в ней, он относился с несвойственным ему раздражением и говорил о них так горячо, как, кажется, не говорить ни о ком.

Когда в феврале этого года Всероссийский Союз Писателей рассматривал в особом заседании те небылицы и вздоры, которые в заграничных газетах распространяли обо мне мои друзья, Блок, вместе с покойным Гумилевым, принял это дело до странности близко к сердцу, и только тогда я увидел, как измучила его самого трехлетняя травля, которую вели против него соотечественники. И думалось:

— Должно быть у России много Блоков, если этого она так весело топчет ногами.

И становилась понятна та жестокая, неблоковская злоба, с которой он говорил об этих заграничных ругателях. Когда нынешней весной у Союза Писателей возникла мысл об издании «Литературной газеты», Блок написал небольшую статью об эмигрантской печати, и предлагал поместить ее в нашей газете без подписи в качестве редакционной статьи.

В этой статье он писал:

«... Первые бежавшие за границу были из тех, кто совсем не вынес ударов исторического молота; когда им удалось ускользнуть... они унесли с собой самые сливки первого озлобления; они стали визгливо лаять, как мелкие шавки из за забора, разносить вместе с обрывками правды — самые грязные сплетни и небылицы. Теперь голоса этих господ замолкают; разумеется, отдельные сплетники еще не унимаются, но их болтовня — обыкновенный уличный шум; появляется все больше литературных органов, сотрудникам которых понятно, что с Россией

и со всем миром случилось нечто гораздо более важное и значительное, чем то, что г-жам NN приходилось читать лекции проституткам, есть капусту и т. п. Русские за рубежом понимают все яснее, что одним «скверным анекдотом» ничего не объяснишь, что жалобы, вздохи и подвизгиванья ничему не помогут»...

В конце статьи Блок выражал радость по поводу того, что в Европе раздались, наконец, настоящие русские голоса, что с людьми можно, наконец, спорить или соглашаться серьезно. «Возражать всяой литературной шавке, на которой налипла, кроме всех природных пошлостей, еще и пошлость обывательской эмигрантщины, у нас никогда не было потребности; но разговаривать свободно, насколько мы сможем, с людьми, говорящими по человечески, мы хотим»...

— Это не статья, это только схема статьи,— говорил мне Блок. — А статью пусть напишут другие.

Вообще политика не ослепляла его. В 1918 году, когда за свою неверно-понятую статью он подвергся чуть ли не бойкоту своих недавних друзей, он говорил о них по прежнему любовно. Вот отрывок из его письма ко мне от 18 декабря 1919 года:

— «Если зайдёт речь, скажите З. Н. (Гиппиус), что я не думаю, чтобы она сделала верные выводы из моих этих стихов; что я ее люблю и чту по прежнему, а иногда и больше прежняго».

Я ехал из Страшниц в Карачуницы и вспоминал его предсмертное письмо. Какое доброе, какое внимательное. Сам больной, при смерти, но не забыл подумать о другом, заметил и чужую болезнь!

«В Вас еще очень много сил, — писал он, — но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру и даже в последнем письме — надорванная струна»...

«Объективно говоря, еще поправимся», — утешал он в конце письма.

Он часто смотрел на меня с состраданием, как на непоправимобольного, но всегда деликатно, издали. Деликатность у него была — необычайная. Весною этого года мы затеяли устроить вечер Блока, где выступил бы он со своими стихами, а я прочитал бы о его поэзии лекцию. Эта затея показалась ему привлекательной, но он ставил невозможное условие: чтобы три четверти всего сбора шло мне,

а ему, Блоку, лишь четверть. Напрасно я доказывал ему, что сбор, в сущности, сделает он, что мне довольно и десятой доли; он упрямо стоял на своем. Лишь через несколько дней, и то из деликатной боязни обидеть меня, он взял своё невозможное условие назад.

Вечер Блока состоялся в конце апреля нынешнего года в Большом (бывшем Суворинском) театре.

Моя лекция о нем провалилась. Я читал, и при каждом слове чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал в какую-то уборную. Он розыскал меня там и утешал, как опасно-больного. Привел артистов и артисток театра, которые ласково апплодировали мне.

Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему, и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке: я с убитым лицом, а он с добрым, очень сочувственным. Врач у постели больного. Это был его последний портрет. Он знал, что моя лекция не удалась мне от тех же причин, от которых страдали мы все: от каторги заседаний, от гнёта принудительных работ.

Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно, — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась. Он так и говорил:

— В вашей лекции много неверного. Моей жене она совсем не понравилась.

Такова была его особенность: в вопросах искусства он не лгал никогда. Даже желая утешить, не мог уклониться от правды. Говорил ее с трудом, как принуждаемый кем то, но всегда без обиняков, откровенно.

Один избалованный и преуспевающий автор подошел к нему в театре и спросил, как ему понравилась его последняя пьеса.

Блок ничего не ответил. Он долго думал, молчал и, наконец, произнес сокрушенно:

— Не нравится.

И через несколько времени еще сокрушеннее:

— Очень не нравится.

Как будто он чувствовал себя виноватым, что пьеса оказалась плохою.

Для меня эта прямота и правдивость была связана с другой его особенностью, которая почему-то даже пугала меня: с необыкновенной его чистоплотностью. В комнате и на столе у него был такой страшный порядок, что хотелось хоть немного намусорить. В его библиотеке даже старые книги казались новыми, сейчас из магазина. Вещи, окружавшие его, никогда не располагались беспорядочным ворохом, а, казалось, сами собою выстраивались по геометрически-правильным линиям. Я не раз говорил ему, что, стоит ему только подержать в руках какую нибудь замусоленную книгу, и она сама собою станет чистой. Портфелей он не любил и никогда не носил, а все рукописи, нужные для заседаний, обвертывал необыкновенно изящно бумагой и перевязывал ленточкой.

Все письма, получаемые им от кого бы то ни было, сохранялись им в особых папках, под особым номером, в каком-то сверхъестественном порядке, и повторяю, в этом порядке было что-то пугающее. В этой чрезмерной аккуратности я всегда ощущал хаос.

— —

Что сказать о его последней, предсмертной поездке в Москву? В вагоне, когда мы ехали туда, он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличем и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и улыбаясь, говорил: болит! (Он думал, что у него подагра).

В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой, Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло сейчас прочитать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было что то волнующее. По озаренным луною переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные любящие, которые словно чувствуют, что это последние проводы. В «Итальянском Обществе» Блока встретили с необычайным радушием и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосов. На следующий день произошло одно печальное собы-

тие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил, сели пить чай, а он ушел в свою комнату и вернувшись через минуту, сказал:

— Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог придти.

Это испугало меня. В «Союзе Писателей» он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад. Как же мог он забыть об этом, он, такой точный и памятливый. А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предо мною сидел не Блок, а какой то другой человек, совсем другой, даже отдаленно непохожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.

— Вы ли это, Александр Александрович! — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.

Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет.

Я взял шляпу и тихо ушел. Это было мое последнее свидание с ним.

Теперь, когда я перебираю в уме наши недавние встречи, я вспоминаю только — заседания. Как будто тянется одно заседание без начала, без конца — три года — и то, что я сейчас напишу, можно было бы озаглавить чудовищно: «Блок как заседатель».

Я помню самые мелкие эпизоды нашего трехлетнего сидения. Вот он сидит и рассматривает какой то портрет, напечатанный в книге, потом показывает мне и говорит:

— Неправда ли Лермонтов только такой? Только на этом портрете? На остальных не он?

И опять умолкает, как будто и не говорил ничего.

А однажды наклонился и сказал:

— Говорят, Буренин голодает, Буренин из «Нового Времени». Я любил его. Нужно собрать для него деньги. Я тоже дам.

Это удивило меня. Буренин лет пятнадцать подряд величал его в своих статьях «идиотом».

Через полчаса Блок наклонился опять и сказал:

— У него была хорошая пародия на мои «Шаги Командора».

В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.

Он исполнил эту работу по своему, и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове - боговидце.

Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом. И вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила», и предложили написать по другому, в более популярном, «культурно-просветительном» тоне. Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Если нужен «культурно-просветительный» тон, зачем же было обращаться к Блоку? Разве у нас недостаточно литературных ремесленников?

Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе («дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал на смерть Пушкина»), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.

С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждым месяцем росло.

Оно было фатально, так как заправилы наших заседаний мечтали о работе для масс, о культурно - просветительной деятельности, о популяризации знания, а он был поэт и творец и в комивояжеры готовых идей не годился. Как поэты, как творцы, писатели были в ту пору никому не нужны,—их ценили только как распространителей общеполезного и общедоступного знания.

Когда он понял, что это именно так, что как Блок он никому не нужен, он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал.

Если же говорил, то о своем, и не на заседаниях, а в антрактах между двумя заседаниями. Чаще всего он говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:

— Символисты просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней десять пудов, но выдолбили всю середину, швыряют гирю и так и сяк, а она пустая.

Блок однотонно отвечал:

— Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всяком течении. Символизм здесь не при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как то слишком литератор... Вы француз?

Эти откровенные споры завершились статьею Блока об акмеизме, которой не суждено было увидеть свет, так как она была напечатана в «Литературной газете».

Спорщики так и не докончили спора. Россия не разбирала, кто из них акмеист, кто символист...

Когда Блок говорил о своей поэзии, он говорил о ней либо торжественно, либо насмешливо.

У него была привычка, сказавшаяся во многих его пьесах и стихах, относиться к себе и ко всему своему иронически. Вспомним хотя бы его статью «О любви, поэзии и государственной службе». Он мог горячо защищать символистов, но, например, в своем списке «Ста лучших писателей», он отвел им очень мало места и когда я спросил его, почему, он ответил:

— Не люблю этих молодых людей.

И, спустя некоторое время, прибавил:

— Я в этих молодых людях ничего не понимаю,

именуя молодыми людьми пятидесяти - и шестидесятилетних поэтов

О программе, которую составил Гумилев, он сказал:

— Гумилев хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского — и больше никого. Все остальные писатели — спорные.

Я напомнил ему о его любимом поэте, о Тютчеве, и он, к моему удивлению, ответил:

— Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все отрывочки. К тому же его поэзия немецкая.

В таком тоне он часто говорил о самом любимом, напр., — о Прекрасной Даме, и если бы в нем не было этого тона, он не написал бы «Балаганчика».

Я уже упоминал о моей тетради «Чукоккала», которую Блок любил рассматривать во время заседаний. Туда он записывал все, что приходило ему в голову.

Я счастлив, что у меня осталось от него такое наследство: эпиграммы, экспромты, послания, отрывки из дневника и даже шуточные протоколы заседаний. К сожалению обнародовать эти страницы теперь невозможно, на одной из них он сам написал:

— Таких вещей не следовало бы писать по многим причинам.

Упомяну разве о стихотворении, посвященном встрече с дочерью Кропоткина, Александрой Петровной. Мы встретили Кропоткину в одном учреждении, куда ходили вместе — по официальному делу. Дня через три, видя, что для него невыносима тоска заседания, я в шутку заказал ему стихи о Кропоткиной. Он взял мою тетрадь и 17 минут сидел над нею неподвижно, думая, а потом сразу написал восьмистишие, которое оканчивается так:

Вдруг среди приемной советской,
Где все могут быть сожжены, [1])
Взгляд и брови и говор светский
Этой древней Рюриковны.

В этих записях отразилось его малоизвестное качество: юмор. Люди, знающие его только по книгам, не могут даже представить себе, сколько мальчишеского шаловливого смеха было в этом вечнопечальном поэте. Он любил всякие литературные игры, шарады, буримэ, и я уверен, что впоследствии можно будет собрать целый

---

[1]) В приемной висело объявление о том, что каждый из умерших граждан Советской России «имеет право быть сожженным» в Государственном Крематориуме.

томик его юмористики. Вот, напр., отрывок из его ранней пародии на мексиканские стихотворения Бальмонта, относящейся к 1905 году:

Увлеченный, упоенный, обнаженный, совлеченный
Относительно одежд [1]),
Я искал других надежд,
Озираясь,
Упиваясь,
С мексиканкой обнимаясь,
Голый, голый — и веселый,
Мексиканские глаголы
Воспевал,
Мексиканские подолы
Целовал,
Взор метал
Из под пьяных, красных, страстных,
Воспаленных и прекрасных
Вежд...
Сдвинул на ухо сомбреро, —
Думал встретить кабалеро,
Стал искать
Рукоять
Сабли, шпаги и кинжала... —
Не нашел
(Вечно гол!)
Мексиканка убежала в озаренный тихий дол
И подобная лианам
Выгибала красный стан,
Как над девственным туманом
Вечно странным
И желанным —
Зыбким,
Липким.
Красной кровью окропленный караван.
Пал туман.
Я же вмиг, подобен трупу,
Прибыл утром в Гваделупу
И почил
В сладкой дреме
И в истоме
На соломе
В старом доме
Набираясь новых сил,
И во сне меня фламинго
В Сан-Доминго
Пригласил.

---

[1]) Примеч. Ал. Блока: «Перевод с греческого (впервые в русской поэзии»).

Но это было давно. Теперь его юмор стал жостче и обратился на другие предметы. Изо всех его последних стихов я приведу лишь один— о заседании во «Всемирной Литературе», и то в небольших отрывках.

Происхождение этих стихов такое. Однажды я обещал ему написать для редактируемого им собрания сочинений Гейне — статью о влиянии Гейне на английских писателей, но за недосугом не исполнил обещания. Он напоминал раза два, но напрасно. Тогда он прибег к последнему средству — к стихам. Перед этим один писатель читал нам свою пьесу о Ваське Буслаеве, и в стихах Блока сохранились кое где отзвуки этой утрированно-русской пьесы. Для ясности нужно сказать, что в издательстве «Всемирной Литературы» проф. Лозинский, упоминаемый в этих стихах, ведал испанскую литературу, Волынский — итальянскую, Гумилев французскую, я — английскую, а Тихонов управлял всем издательством. Стихи начинаются речью Блока:

В конце ж шестого тома Гейне, там,
Где Englische кончаются Fragmente,
Необходимо поместить статью
О Гейне в Англии: его влиянье
На эту нацию и след, который
Оставил он в ея литературе.

ТИХОНОВ.

Кому ж такую поручить статью?

БЛОК.

Немало здесь различных спецьялистов,
Но каждый мыслит только о своем:
Лозинский только с Богом говорит,
Волынский о любви лишь: Гумилев —
Лишь с королями. С лошадьми в конюшне
Привык один Чуковский говорить [1]).

ЧУКОВСКИЙ (запальчиво).

Мне некогда! Я принципы [2]) пишу!
Я гржебинские списки составляю!
Персея инсценирую! Некрасов
Еще не сдан! Введенский, Диккенс, Уитмен
Еще загромождают стол! Шевченко,
Воздухоплаванье...

---

[1]) Эти строки основаны на известной поговорке, что по итальянски можно говорить с женщинами, по-французски с королями, по-испански с Богом, а по-английски с лошадьми.

[2]) «Принципы художественного перевода»—брошюра, написанная мною совместно с Гумилевым; Блок принимал в ней большое участие.

БЛОК.

Корней Иваныч!
Не вы один! Иль-не в подъем? Натужьтесь!
Кому же, как не вам?

ЗАМЯТИН.

Ему! Вестимо —

И так дальше — несколько страниц, очень веселых. Кончается пьеса так:

«Насколько известно, статья Чуковского «Гейне в Англии» действительно была сдана в набор после Рождества 1919 года. Она заключала в себе около 10.000 печатных знаков, ждала очереди в типографии около 30-лет и вышла в свет 31 вентоза 1949 года, при чем по недосмотру 14 ответственных, квалифицированных и забронированных корректоров, заглавие ее было напечатано с ошибкой, именно: «Гей не в ангелы».

В 1919 году Блок еще мог смеяться. Но потом перестал, и его последнее стихотворение — совершенно иное. Это стихотворение посвящено памяти Пушкина. Многие помнят ту великолепную речь, которую он произнес на чествовании Пушкина в «Доме Литераторов», но вот, придя к нему через несколько дней, я узнал, что он посвятил Пушкину также и стихи.

— Но, кажется, очень плохие. Кто то позвонил по телефону и сказал, что Пушкинский Дом просит написать ему в альбом какие-нибудь строки о Пушкине. Я написал, но, кажется, вышло плохо. Отвык. Не писал уже несколько лет.

И Блок прочитал мне такие стихи:

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук.

Это звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.

Наши страстныя печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали
Открывала нам река.
Но не эти дни мы ждали,
А грядущие века.

Пропускали дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.

Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему...

Если не считать черновых набросков к поэме «Возмездие», это были последние стихи Блока. В них меня тогда же поразила строка: «Уходя в ночную тьму».

Он действительно «уходил в ночную тьму», и перед тем, как уйти, отдал последний прощальный поклон — Пушкину.

Умирал он мучительно. Вскоре после его кончины один из его близких прислал мне в деревню описание его последних дней; заимствую из этого письма отрывки:

«Болезнь развивалась как то скачками, бывали периоды улучшения, в начале июня стало казаться, что он поправляется. Он не мог уловить и додумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого наступило резкое ухудшение, думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытье, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему вспрыскивали морфий, но это мало помогало. Все таки мы думали что надо сделать последнюю попытку и увести его в Финляндию. Отпуск был подписан, но 5-го августа выяснилось, что какой то Московский Отдел потерял анкеты и поэтому нельзя было выписать паспортов... 7 августа я с доверенностями должна была ехать в Москву... Ехать я должна была в вагоне NN, но NN, как и его секретарь, оказались, при переговорах, пьяными. На другое утро в семь часов я побежала на Николаевский вокзал, оттуда на Конюшенную, потом опять на Конюшенную, потом опять на вокзал, где заявила, что я все равно поеду, хоть на буфере... Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую... В первую минуту я не узнала его (Ал. Блока). Волосы черные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна (мать Блока) сидела у постели и гладила его руки... Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть... Место на кладбище я выбрала сама — на Смоленском возле могилы деда, под старым кленом... Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много. Отпевали в Церкви Воскресения на Смоленском»...

Остались его книги, осталась поэма «Двенадцать». Эта поэма еще долго будет вызывать вопросы, споры, хулы и хвалы. Необходимо хотя бы в малой мере, хотя бы по случайным и отрывочным данным, восстановить то, что думал и говорил об этой поэме сам Блок. У нас есть драгоценный документ, который мы и приведем здесь почти

полностью: письмо Блока к художнику Ю. П. Анненкову, первому (по времени) иллюстратору этой поэмы.

Анненков значительно моложе Блока; с юности он так любил его стихи, что эта чрезмерная любовь мешала ему сблизиться с поэтом. Когда появилась поэма «Двенадцать», Блок и Анненков были едва знакомы: при встречах молча здоровались и расходились. «Двенадцать» вначале появились в газете, вызвав ожесточенную брань, но Анненков пришел от поэмы в такой восторг, что возмечтал сделать к ней иллюстрации.

Летом 1918 года эскизы Анненкова были присланы Блоку из Москвы. Блок был поражен, что такой, казалось бы, посторонний ему человек, человек другого поколения, угадал самую суть его «Двенадцати».

Тогда же, под первым впечатлением, он написал Анненкову такое письмо:

«...Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся, и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более, чем приемлемо, т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего безспорнее убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно, небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, еслибы мы, столь разные и разных поколений, — говорили с Вами сейчас,— мы многое съумели бы друг другу сказать полусловами.

Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе, и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно:

1) с Катькой отдельно (с папироской);

2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригиналный вообще, думаю, что и наиболее «не Ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая, русская девка: свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее

и понелепей (может быть без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «Сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как... пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. «Христос с флагом» — это ведь и тот и не тот. Знаете ли Вы (у меня через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем, или за снегом, и главное — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать).

Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как может быть хуже всего съумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «Убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом — эта была бы исчерпывающая обложка. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке, но рот опять старый. А на целое я опять — смотрел, смотрел, и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера. (т. е., нечто совершенно не относящееся сюда, постороннее воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Катьки», которое, по моему, настолько grand style, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката, и, все таки, не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить.

Вот, кажется, все главное, по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок.

12 VIII 1918.

После этого письма Анненков долго по всей Москве искал подходящую Катьку. Он нарисовал около двенадцати разных Катек, но чувствовал, что каждая — не то. Наконец нашел настоящую, ту, которая теперь напечатана в книге, и я могу засвидетельствовать, что эту Катьку Блок полюбил еще больше других иллюстраций.

Ему нравилось, что в ней каждая косточка русская, что Анненков уловил ее ритм. О других иллюстрациях он отзывался в разное время по разному, но эту любил неизменно.

В глазах нашего поколения иллюстрации Анненкова прочно спаяны с поэмой Блока. Как воспримут их потомки, не знаем: думаем, что каждая эпоха будет иллюстрировать поэму по своему. Для современников Диккенса иллюстрации Стэнфорда и Лича вполне гармонировали с текстом его повестей и романов, но позднейшие поколения потребовали новых рисунков, в соответствии с более сложным и углубленным восприятием текста. «Пикквик», «Копперфильд», «Домби и сын» жили в каждом новом поколении новой жизнью, а прежние рисунки отставали от них и дряхлели. Теперь их воспроизводят лишь для любителей, — из уважения к старине. Но они никогда не умрут: в них сохранился запах Диккенсовой эпохи, ее — скажем словами Блока — музыка.

Эта же музыка всегда будет звучать в рисунках «старинного мастера» Анненкова для поколений 1960, 1970, 1980 годов.

К. Чуковский.